

Г. Е. Лебедева, В. А. Якубский

CATHEDRA medii ævi

*Материалы к истории ленинградской
медиевистики 1930–1950-х годов*



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Г. Е. Лебедева, В. А. Якубский

CATHEDRA MEDII AEVI

МАТЕРИАЛЫ К ИСТОРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ МЕДИЕВИСТИКИ
1930–1950-х ГОДОВ



ИЗДАТЕЛЬСТВО С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ББК 63.3

ЛЗЗ

Рецензенты: д-р ист. наук *Ю. Г. Алексеев* (С.-Петербургский гос. университет), д-р ист. наук *Е. К. Пиотровская* (Институт истории российской академии наук)

*Рекомендовано к печати
Редакционно-издательским советом
исторического факультета
С.-Петербургского государственного университета*

Лебедева Г. Е., Якубский В. А.

ЛЗЗ CATHEDRA MEDII AEVI: Материалы к истории ленинградской медиевистики 1930–1950-х годов. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. — 125 с.

ISBN 978–5–288–04503–5

Книга посвящена прошлому одной из старейших структурных единиц Петербургского университета — кафедры истории средних веков исторического факультета. Вводный очерк повествует о ее традициях, которые были прерваны в послереволюционные годы и возрождены только в 1934 г. Наиболее подробно, опираясь на архивные материалы и воспоминания, авторы освещают предвоенный и послевоенный периоды вплоть до 1960 г. Рассказывается о таких замечательных ученых и педагогах, как А. Д. Люблинская, О. Л. Вайнштейн, М. В. Левченко, М. А. Гуковский и др. Книга адресована историкам, а также всем интересующимся историей отечественной науки.

ББК 63.3

*На обложке картина Антонелло да Мессина
«Св. Иероним». Национальная галерея, Лондон*

© Г. Е. Лебедева,
В. А. Якубский, 2007

© Исторический факультет
С.-Петербургского
государственного
университета, 2007

ISBN 978–5–288–04503–5

ОТ АВТОРОВ

О медиевистах, с именами которых связано возрождение в 1934 г. кафедры истории средних веков нашего университета и ее дальнейшие судьбы, писали сами участники и свидетели тех, уже ставших достоянием истории, событий. К прошлому кафедры потом не раз будут обращаться историографы — Л. М. Баткин, Б. С. Каганович и другие. Не перечисляя здесь такого рода труды (отсылки ко многим из них читатель найдет в этой книге), не можем не назвать хотя бы сборник «Западноевропейская культура в рукописях и книгах Российской национальной библиотеки» (СПб., 2001), где опубликованы воспоминания и исследования, посвященные Александре Дмитриевне и Владимиру Сергеевичу Люблинским. Имеются и краткие очерки, содержащие общий обзор многолетней деятельности медиевистической кафедры СПбГУ.

Опираясь на опыт предшественников и по возможности прибегая к архивным материалам, мы попытались более детально осветить путь, который прошла кафедра за первую четверть века своего существования. Период с 1934 по 1960 г. в жизни нашего общества, надо ли пояснять, — это время, насыщенное эпохальными, нередко трагичными по своей сути, процессами и явлениями. Кафедра, естественно, не оставалась в стороне от них, они так или иначе преломлялись в трудах ленинградских медиевистов. Говоря о том, как в этих условиях развивалась медиевистика в стенах ЛГУ, нельзя было не коснуться и предыстории вопроса — этому посвящен открывающий книгу вводный очерк «Традиции».

Сознаем, что при изложении материала в книге не везде соблюдены нужные пропорции. Причина прежде всего в состоянии источниковой базы. Возможно, сказалось также стремление (надеемся — понятное) подробнее рассказать о тех замечательных наставниках, у которых нам посчастливилось учиться.

ТРАДИЦИИ

Кафедра истории средних веков вместе со всем историческим факультетом Санкт-Петербургского государственного университета в 2004 г. отпраздновала свое 70-летие, ведя отсчет от 1934 г., когда в Ленинградском университете возродили изучение гражданской истории.¹ Однако при этом кафедра никогда не забывала, что медиевистические традиции СПбГУ имеют гораздо более давние и глубокие корни, а она сама — по существу одно из старейших подразделений нашей *alma mater*.

Прежде чем хотя бы кратко остановиться на этих корнях, напомним, что в 1934 г. в Советском Союзе был также восстановлен в правах полузабытый к тому времени термин *средние века*. Но теперь его стали понимать как синоним эпохи господства феодального способа производства, соответственно раздвинув хронологические рамки. Исходный пункт периода оставлен был без изменений — им по-прежнему считалось падение Римской империи (с соответствующим выходом в предшествующую историю древних германцев и иных народов Европы). Верхний же рубеж средних веков, привычно относимый медиевистами ко второй половине XV в., подняли до времен Великой французской буржуазной революции. То есть, к изумлению, а то и к негодованию старых ученых, в Средневековье было включено то, что прежде называли ранним новым временем. Позднее советское идеологическое начальство сочло возможным опустить верхний формационный рубеж на добрую сотню лет, связав его с событиями Английской революции. Но бросающийся в глаза разрыв с принятой в мировой науке периодизацией исторического процесса все равно сохранился. Это создавало определенные сложности, затрудняя взаимопонимание между советскими и зарубежными историками.

В послевоенные годы в отечественной науке не раз поднимался вопрос об искусственности такой привязки общеевропейской периодизации ко все-таки локальным политическим потрясениям в Англии середины XVII в., и в последние десятилетия начали понемногу возвращаться к некогда отброшенной практике. Так, издаваемые кафедрой истории средних веков СПбГУ сборники получили название «Проблемы социальной истории и культуры средних веков и раннего нового времени», хотя сама кафедра именуется точно так же, как в 1930-е годы. Но, в конце концов, любая периодизация и тем более проведение четких рубежей между периодами всегда относительно. Нельзя не отметить и тот факт, что совместная, в рамках одной кафедры, работа чистых, если можно так выразиться, медиевистов со специалистами по ранней новой истории во многом себя оправдала, такое организационное объединение оказалось достаточно продуктивным.

Как бы то ни было, возрожденная в 1934 г. кафедра с первых своих шагов и по сей день в педагогической и научной работе опирается на опыт предшественников, занимавшихся в стенах Петербургского–Петроградского–Ленинградского университета как западноевропейским Средневековьем в тесном значении этого слова, так и ранним новым временем.

Такие занятия велись здесь начиная с послепетровских времен. Традиция перешла и в XIX век. Мраморная доска в одном из помещений Главного здания хранит память о том, что там в 1834/35 учебном году Николай Васильевич Гоголь, состоявший адъюнкт-профессором всеобщей истории нашего университета, читал лекции по истории средних веков. Тщательно подготовленный им текст вводной лекции «О средних веках» был тогда же опубликован в «Журнале Министерства народного просвещения», а затем автор включил его в свой сборник «Арабески». Гоголь уже подумывал о том, чтобы написать «среднюю историю томиков в 8 или 9», однако его университетская карьера вскоре оборвалась, и замысел осуществлен не был.

Преемником Н. В. Гоголя в стенах университета стал Михаил Семенович Куторга, специалист по истории античности. Однако его магистерская диссертация (1858) была посвящена древним германцам, а лекции он читал также и по истории Средневековья и нового времени. Его ученики — Михаил Матвеевич Стасюлевич (1826–1911) и Василий Васильевич Бауэр (1833–1884) — оставили заметный след в российской науке. Первый из них, проработав-

ший в Петербургском университете недолго, известен больше как составитель до сих пор переиздаваемой трехтомной хрестоматии «История средних веков в ее писателях и исследованиях новейших ученых». С именем второго связано начало регулярного изучения у нас истории Германии.² Ему принадлежат такие исследования и лекционные курсы, как «Так называемая “Реформация императора Фридриха III”: Политический памфлет XV ст.», «История германороманского мира в XV и XVI ст.: Реформационная эпоха» и др. Бауэр, надо добавить, решительно противостоял славянофильской точке зрения, доказывая, что при всех отличиях славян от романо-германских народов «общие законы природы, общие законы развития остаются для всего человечества одинаковыми, стоят выше всяких племенных различий и особенностей».³

В последней четверти XIX в. медиевистика в стенах Петербургского университета прочно встает на ноги, чему в немалой степени способствовала научная и педагогическая деятельность академика Василия Григорьевича Васильевского (1838–1899), создателя русской школы византиноведения.⁴ И. М. Гревс — ученик и преемник В. Г. Васильевского, на протяжении четверти века, до 1894 г. читавшего в университете общий курс истории средних веков, — был убежден, что и «научное основание школе медиевистов, без всякого сомнения, было положено В. Г. Васильевским».⁵

Питомцы В. Г. Васильевского, выросшие и начавшие свою самостоятельную работу уже в иную эпоху, чем их наставник, не могли не испытать новых веяний. На рубеже XIX и XX вв. в Петербургском университете закладываются основы культурно-исторической школы, которая блестяще представлена именами самого Ивана Михайловича Гревса (1860–1941) и его учеников — О. А. Добиаш-Рождественской (1874–1939), Л. П. Карсавина (1882–1952), Г. П. Федотова (1886–1951) и других, работавших как в университете, так и на Высших женских (Бестужевских) курсах. Многие из их научных трудов выдержали строгую проверку временем, и не случаен такой всплеск интереса к ним в наши дни. В университетских стенах проблемы ранней новой истории деятельно разрабатывали профессоры Георгий Васильевич Форстен (1857–1910), Николай Иванович Кареев (1850–1931) и другие видные ученые.

Осенью 1914 г. к петербургским историкам присоединился академик Федор Иванович Успенский (1845–1928).⁶ Некогда, в 1872 г., он окончил историко-филологический факультет Петербургского университета.⁷ Здесь же два года спустя стал магистром всеобщей

истории, а весной 1879 г. защитил докторскую диссертацию. После защиты своего магистерского сочинения работавший в Новороссийском (Одесском) университете, Успенский с 1895 г. бессменно руководил созданным по его инициативе и при самом деятельном его участии Русским археологическим институтом в Константинополе.

После того как Турция, вступив в Первую мировую войну на стороне Германии, выслала сотрудников Института в Россию, академик, к тому времени уже общепризнанный глава отечественных византинистов, обосновался в столице. К его многочисленным служебным обязанностям теперь прибавилось редактирование «Византийского временника». Когда весной 1916 г. русские войска заняли Трапезунд, уже весьма немолодой ученый, за год до того отметивший свое семидесятилетие, лично возглавил направленную туда академическую экспедицию. При всей своей загруженности Успенский найдет время еще и вести занятия со студентами университета.

Университетские традиции — вместе с иными духовными ценностями — подверглись суровому испытанию после 1917 г., когда рушились не только социально-экономические опоры старого общества, но и то, что на языке пришедших к руководству наукой марксистов именовалось надстройкой. На рубеже 1910–1920-х годов петроградская историческая наука, медиэвистика в том числе, понесла тяжелые потери. Кто-то из специалистов эмигрировал, кого-то репрессировали или выслали из страны. Оставшимся приходилось как-то приспосабливаться к трудным, голодным условиям петроградского послереволюционного быта и к идеологическому прессингу, в той или иной мере менять тематику своих работ и высказываться с оглядкой на постепенно ужесточаемый политический надзор со стороны новых властей. Многие поневоле отошли от занятий наукой. Причем приверженцам петербургской медиэвистической школы приходилось куда труднее, чем москвичам. В Москве все же издавна культивировали занятия социальной историей, тогда как сам И. М. Гревс и его ученики ориентировались преимущественно на историко-культурную, а следовательно, в какой-то мере и на историко-религиозную проблематику, которая у советской власти вызывала аллергию.

И все-таки работа петроградских историков продолжалась. На грани двух социальных эпох в их трудах, вполне естественно, сильно давала о себе знать публицистическая струя, при обращении к научной тематике предпочтение отдавалось произведениям научно-популярного характера, рассчитанным на широкую аудиторию. Но

по печатной продукции тех лет нетрудно убедиться, что творческая мысль не угасала.

В 1918 г. Ольга Антоновна Добиаш-Рождественская стала первой в России женщиной — доктором всеобщей истории, защитив докторскую диссертацию «Культ св. Михаила в латинском Средневековье V—XIII вв.» (литографированное издание книги вышло в 1917 г.). Теперь в ее исследованиях на первый план выходит история Крестовых походов. К этой теме она и прежде охотно обращалась в своих культурологических изысканиях. Среди ее ранних статей — «Письмо князей-крестоносцев к папе Урбану II» (1914), в 1913/14 и 1914/15 учебных годах ею читался большой лекционный курс на тему крестоносного движения бестужевкам. В Отделе рукописей Российской национальной библиотеки хранится авторский конспект этих лекций, насчитывающий около 500 страниц. По нему видно, насколько подробно О. А. Добиаш-Рождественская освещала подготовку и ход Крестовых походов (особенно первого из них), историю крестоносных государств в Сирии и Палестине. Примерно четверть всего листажа была отведена источникам — самим текстам и их анализу. Подробно рассматривались хроники и иные памятники эпохи, в частности, было блестяще аргументировано доказательство подлинности письма Алексея I Роберту Фландрскому. Много внимания уделялось отечественной и зарубежной историографии вопроса, прилагаемый список литературы содержит более сотни названий.

С лекционным курсом генетически связана книга О. А. Добиаш-Рождественской «Эпоха Крестовых походов (Запад в крестоносном движении)» (Пг., 1918). Если авторы, писавшие на рубеже XIX—XX вв. о крестоносцах, чаще всего концентрировали внимание на событийной стороне дела и настойчиво искали в источниках информацию о происходивших в связи с походами политических или социально-экономических сдвигах в жизни средневековой Европы, то ученице Гревса представлялось более важным разобраться в мыслях и чувствах, какие обуревали паломников и воителей, отправлявшихся в Святую землю. За этой книгой последовали обзорный очерк «Западная Европа в средние века» (Пг., 1920) и несколько статей.

Не перечисляя других образцов петроградской медиевистической продукции той поры, кратко остановимся на по-своему крайне показательных для первых послереволюционных лет трудах замечательного знатока средневековой культуры Льва Платоновича

Карсавина и полемике вокруг них. Им были опубликованы «Католичество» (Пг., 1918), «Культура средних веков» (Пг., 1918). С этими небольшими популярными очерками неразрывно связаны карсавинские сочинения на религиозно-этическую тематику, интерес к которой в российской ученой среде резко обострили драматические события войны и революции: «Saligia, или Весьма краткое и душеполезное размышление о Боге, мире, человеке, зле и семи смертных грехах» (Пг., 1919), «Noctes petropolitanae» (Пг., 1922).

Пристальный — и по преимуществу скептический — интерес у медиевистов вызвало вышедшее в Петрограде в 1920 г. его «Введение в историю (Теория истории)». Это, казалось бы, вполне безобидное, краткое учебное пособие, открывавшее собой задуманную издателями новую серию под названием «Введение в науку: История» и знакомившее читателя с азами ремесла, не напрасно навлечет на себя нарекания со стороны коллег, а теперь, без малого столетие спустя, будет вызывать споры среди историографов. В числе тогдашних критиков, которые, не ставя под сомнение эрудицию Карсавина, осудили его разрыв с методологией позитивизма, оказался былой наставник автора И. М. Гревс.

Гревсу было чем возмущаться. Книга 1920 г. покусилась даже на теорию прогресса — абсолютно непререкаемую истину для любого поклонника как Огюста Конта, так и Карла Маркса. «Идея прогресса, — без тени почтения к авторитетам писал автор, — связана с более или менее бессознательным отрицанием единства развития, и теоретику прогресса процесс развития представляется в виде прерывного ряда сменяющих друг друга фаз и периодов. Лучшее для него лежит в будущем, настоящее и прошлое навсегда умирают. Данный момент развития, данная эпоха обладают значением не сами по себе, а только как средство или этап к будущему. Это особенно ясно сказывается в отношении к прошлому, в пренебрежительном взгляде на умственное развитие, науку и общественную жизнь наших предков [...]. Так закрывается единственный путь к пониманию прошлого, в котором не усматривается уже ничего всевременно ценного и важного, и утрачивается всякое оправдание исторического интереса».⁸ В принципе отвергая идею прогресса как бессмысленную и антиисторичную, Карсавин противопоставлял классическому «причинному методу» отстаиваемый им субъективистский «метод сопереживания».

Нападки коллег не поколебали ни методологических, ни религиозно-этических убеждений ученого, чему доказательством служит

вскоре появившаяся его новая книга — «Восток, Запад и русская идея» (Пг., 1922). Более развернуто и аргументировано он постарается изложить свои взгляды в «Философии истории», над которой работал в те же годы. Но увидит свет она уже в Берлине, в 1923 г., после высылки осенью 1922 г. тогдашнего ректора Петроградского университета вместе с большой группой российских интеллектуалов из Советской России на печально знаменитом «философском пароходе».

В советской историографии за изгнанным историком прочно закрепилась роль мальчика для битья. Мало кто другой так идеально подходил для иллюстрации всячески изобличаемого в нашей литературе «общего кризиса буржуазной исторической мысли в России».⁹ Однако за последних два десятилетия и здесь все радикально переменялось. А. Л. Ястребицкая, автор ряда содержательных работ на данную тему, обнаружила (пожалуй, не удержавшись от некоторых преувеличений) близость воззрений Карсавина и историков школы «Анналов».¹⁰ Вообще теперь автора «Введения в историю» переиздают и исследуют. Для изучения творческого наследия Л. П. Карсавина и других петербургских медиевистов первой половины XX в. очень много сделал Б. С. Каганович. Отдавая ему должное, трудно, однако, понять, почему исследователь не только отвергает официальную советскую трактовку этого кризиса, но и не готов признать в том же Карсавине носителя кризисных явлений.¹¹ Правда, в таком подходе к проблеме он не одинок. Попытку опровергнуть наличие методологического кризиса в науке начала XX в. недавно на материале отечественной славистики предприняла Л. П. Лаптева.¹²

Но не впадают ли уважаемые исследователи, с полным правом отбросившие столь поощряемые в свое время уничижительные тирады Е. В. Гутновой и ее единомышленников по адресу деградирующей буржуазной науки, в другую крайность? Совсем не обязательно «кризис» понимать как синоним безысходного упадка, деградации. Бывает ведь и «кризис роста», когда привычные методологические ценности начинают все больше осознаваться как недостаточные или сомнительные и идет лихорадочный, нередко болезненный, поиск новых путей.

Искания Л. П. Карсавина, можно полагать, — одно из выражений такого кризиса. К слову сказать, резко осудивший карсавинскую позицию начала 20-х годов И. М. Гревс вовсе не был глух к новым, можно сказать, кризисным идеям. Судя по его работам, он

сам испытал влияние Макса Вебера.¹³ «Историка этого я люблю и взгляды его, не всегда совпадавшие с моими, серьезны и интересны», — признавался он.¹⁴

Кризис методологических устоев, неудовлетворенность позитивистскими заветами — вкупе с нарастающим социальным протестом — еще отчетливей проявляли себя во внедрении в российскую историческую науку учения Маркса. Медиевистику эти веяния поначалу почти не задели. Но в послереволюционные годы положение стало постепенно меняться. Среди тех, кто переходил на позиции исторического материализма или его вульгаризованных модификаций, были и молодые питомцы петроградско-ленинградской школы. В их числе — такие в будущем видные ученые, как А. Д. Люблинская, В. В. Бирюкович, М. В. Левченко, М. А. Гуковский.

Иное дело, что в условиях Советской России этот переход далеко не всегда бывал результатом свободного выбора. К нему толкали трудные житейские обстоятельства, давление, а то и прямое насилие со стороны властных структур.

Историческую продукцию у нас тогда стали строго подразделять в зависимости от методологии трудов, а зачастую попросту от их политического звучания, на две противопоставляемые друг другу категории. В первую, пользующуюся благорасположением властей, попадали работы (за редкими исключениями сочинения популяризаторского или пропагандистского толка), которым были свойственны разоблачительный пафос в отношении феодальных порядков и, в особенности, изобличение духовенства и религии. Их авторы, гордо причисляя себя к марксистам, по поводу и без повода прибегали к цитированию произведений К. Маркса, Ф. Энгельса и В. Ленина и не сомневались, что эти цитаты служат неопровержимым аргументом в полемике с идейными врагами. Вторая же группа включала в себя труды ученых старой формации, которые представителями первого из направлений — в зависимости от установок свыше и от личного темперамента — либо беспощадно клеймились, либо снисходительно признавались пусть и неполноценными, но все же не лишенными познавательного интереса.

Подобное подразделение историков и их творений, надо ли напоминать, более чем условно. Столь подчеркиваемые партийной печатью различия в методологии на практике постоянно отступали на задний план перед соображениями переменчивой политической конъюнктуры. Добившаяся перевеса во внутрипартийных сражах

группировка автоматически становилась законодательницей в научной сфере. В итоге ревностные изобличители идеалистических концепций порой сами оказывались повинными в еще более тяжелых идейных уклонах. Уровень исследовательского мастерства принимали в расчет меньше всего.

Радовали или не радовали медиевистов, прежде делавших погоду в нашей науке, идущие в стране такого рода перемены, но все понимали, что неумолимо наступают новые времена. Ломка старой «дворянско-буржуазной науки» (как ее с презрением называла официальная пропаганда), начатая в годы революции и гражданской войны, продолжалась. В этом деструктивном деле достигнуто было, пожалуй, больше успехов, чем в созидательной работе. Пересмотру, далеко не всегда обоснованному, подвергалось все — начиная от базовых понятий и кончая манерой выражать свои мысли. В нашей отрасли исторических знаний, как и в науке в целом, наступало время новых изысканий, ориентированных на учение Карла Маркса (либо на его варианты, приспособляемые к тем или иным злободневным политическим поворотам).

К разряду быстро перековавшихся петроградско-ленинградских историков, которые активно, даже агрессивно выступали в печати и на разного рода собраниях, принадлежал Николай Николаевич Розенталь (1892–?). Поступив на историко-филологический факультет Петербургского университета в 1910 г., он учился у И. М. Гревса. Тот сумел привить юноше интерес к истории духовной культуры и вдохновил на занятия переходной эпохой от античности к Средневековью. Розенталь занялся проблемой языческой реакции в годы правления Юлиана Отступника. Но потом пути научного руководителя и его способного ученика резко разошлись. Как деликатно выразится в своих воспоминаниях другой воспитанник Гревса Н. П. Анциферов, «Н. Н. Розенталь не пошел по следам своего учителя».¹⁵ Проще говоря, если И. М. Гревс не принял послеоктябрьских новаций ни в политике, ни в науке, то его бывлой питомец, который в июне 1918 г. вместе с Гревсом, Добиаш-Рождественской, Анциферовым и другими подписал обращение «К учителям истории», где происшедшее в стране было названо «катастрофой, разразившейся над Россией»,¹⁶ вскоре пересмотрел свои воззрения. Его увлекли социологические схемы в духе не то марксизма, не то вульгарного экономизма, и он сравнительно легко адаптировался к советским условиям.

Писал Розенталь много и на самые разные темы: о Томасе Мюн-

цере, о роли торгового капитала в историческом процессе. Его первая книга — «Юлиан Отступник (Трагедия религиозной личности)» (Пг., 1923)¹⁷ — еще несла на себе печать так называемого идеалистического мировоззрения. Она мало отличалась от появившихся почти одновременно с ней других культурологических работ школы Гревса. Но последовавшие вслед за ней труды — «Западно-европейское Средневековье» (Л., 1925), «История Европы в эпоху торгового капитализма» (Л., 1927) и другие — уже не отступали от насаждаемых в 1920-х годах вульгарно-марксистских стандартов. По ним видно, что неофит успешно овладевал тогдашним лексиконом и манерой письма. Он охотно составлял всякого рода книги для чтения и хрестоматии, где, к примеру, под шапкой «Торговое государство» находили себе место, с надлежащим комментарием, отрывки из произведений Шиллера, Дюма, Алтаева и пр.¹⁸

Вместе с тем нельзя не отдать должного эрудиции, профессионализму Розенталя. Не зря на его статью «Монархия и феодализм во Франции после смерти Рихелье (К вопросу об отмене политического завещания Людовика XIII)», опубликованную в «Ученых записках Института истории РАНИОН» (Т. 6. М., 1928. С. 110–126), четыре десятилетия спустя обратит внимание А. Н. Чистозвонов.¹⁹

Первейшей обязанностью марксиста тогда, как известно, считалась непримиримая борьба с любыми иными идейными течениями и их носителями. Полемика, в процессе которой в ход шла хлесткая, пусть и малосодержательная, фразеология, а изречения основоположников марксизма-ленинизма служили высшим аргументом, легко соскальзывала в плоскость сиюминутной политики, сплошь и рядом обретая вид прямого политического доноса на инакомыслящих. Этим искусством Розенталь тоже овладевал, но все же, с точки зрения более бойких его соратников, не всегда в достаточной мере. Он азартно изобличал «врагов марксизма» из числа соотечественников, однако, по наблюдениям А. И. Добина, предпочитал объектом своей критики выбирать людей либо мертвых, либо уже арестованных. Сознывая, что не проявляет нужного рвения, он оправдывался: «Если в отношении к нашим классовым врагам у меня нет надлежащей большевистской ненависти, то это объясняется отнюдь не моими принципиальными колебаниями, но лишь пережитками буржуазно-интеллигентской психологии [...], в условиях конкретно-практической деятельности мне легче любить, чем ненавидеть».²⁰ Огорчавшую его самую слабость Розенталь проявлял и по отношению к своему учителю Гревсу, против которого он

не выступил ни разу, как, впрочем, и не поднял голоса в защиту старика.

Гревс в 20-е годы неоднократно подвергался грубым, оскорбительным нападкам. С осени 1923 г. он лишился возможности продолжать любимую работу. Из университета И. М. Гревс ушел отнюдь не по собственному желанию. Его удаление, как и удаление Н. И. Кареева и ряда других ведущих профессоров, задолго до того было предрешиено властями. В одних случаях власти действовали нахрапом, в других соблюдали декорум. Когда в 1926 г. заявление об уходе подал Ф. И. Успенский, Правление университета выразило сожаление.²¹ Академик свой шаг мотивировал состоянием здоровья, но, можно полагать, дело было не только (возможно, и не столько) в нем.

Прибежище, какое оставшийся не у дел Иван Михайлович попробовал найти в давно увлекавшем его краеведении,²² тоже оказалось ненадежным. В поисках заработка ученый в 1927 г. устроился было заведующим библиотекой ГАИМК (Государственной академии истории материальной культуры), но и оттуда был уволен три года спустя.

Не приходилось особенно рассчитывать на гонорары, этот источник неуклонно иссякал (не говоря уж про то, что за публикации платили далеко не всегда). С юности привыкший к систематическому труду, И. М. Гревс за послереволюционное десятилетие опубликовал немало. Наряду со статьями на историографические и иные медиевистические темы («Лики и душа Средневековья» — *Анналы*. 1922. № 1 и др.) и рецензиями он напечатал научно-популярный очерк «Кровавая свадьба Буондельмонте (жизнь итальянского города XIII в.).» (Л., 1925), а также две книги о жизни и творчестве горячо любимого им И. С. Тургенева. С издательством Брокгауза и Ефрона он в свое время заключил договор на публикацию трехтомных «Очерков развития средневековой культуры», основанных на его лекционных курсах. «Римские основы», первый том этой серии, посвященный поздней античности и раннему христианству, был подготовлен к печати. Но с усилением административных помех в издательском деле, а потом в связи с закрытием всех частных издательств проект (вместе со многими другими) будет похоронен.

За служебными и прочими мытарствами И. М. Гревса зримо маячила все усиливавшаяся угроза ареста. Судя по рассказам современников, старого ученого спасло лишь прямое обращение

к Н. В. Крыленко, его бывшему слушателю, а в 20-е годы одной из первых фигур в советской юстиции. Жизненные передрыги да и просто возраст Гревса, которому пошел седьмой десяток, давали о себе знать. Примерно с начала 20-х годов лидерство среди наших университетских медиевистов понемногу переходит к О. А. Добиаш-Рожественской. «Главную, центральную работу, — констатировал в одном из своих писем весной 1923 г., еще до своего вынужденного ухода с факультета, Иван Михайлович, — теперь несет в нашей средневековой сфере Ольга Антоновна, находящаяся в апогее расцвета ученого и профессионального таланта».²³

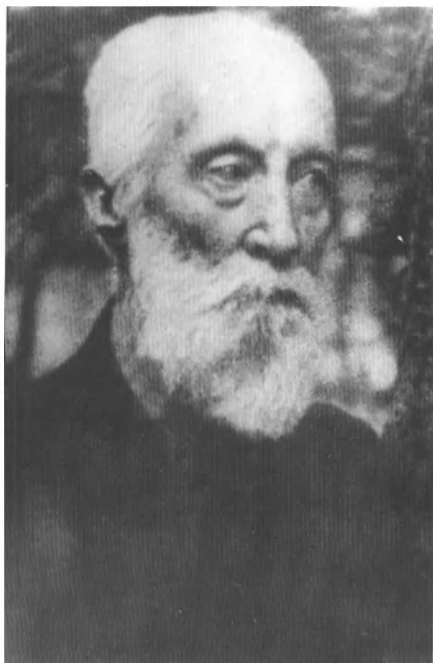
Она, по крайней мере поначалу, сполна разделяла те надежды, какие на заре нэпа распространились в интеллигентской среде. Если не всем (тот же Иван Михайлович Гревс твердо стоял на том, что «Университет наш совершенно исковеркан», что «тут только разрушение культуры, варваризация высоких ценностей, грубость и невежество»²⁴), то большинству казалось, что университетская жизнь, пусть понемногу, со скрипом, но налаживается. Кое-что О. А. Добиаш-Рожественской действительно удавалось сделать для развертывания занятий со студентами, для разработки научных проблем.

Еще в 1920 г. при факультете ею был создан Кабинет вспомогательных исторических дисциплин. На следующий год ее на три месяца командировали в Берлин и Париж для приобретения необходимых Кабинету справочников и литературы. Много времени она отдавала лекциям и семинарам, ведя, в частности, крепко запомнившиеся многим из ее воспитанников практические занятия по палеографии на основе богатейших материалов Отдела рукописей Публичной библиотеки и Музея палеографии Н. П. Лихачева. Вскоре вышло ее учебное пособие по этому предмету — «История письма в средние века: Руководство к изучению латинской палеографии» (Пг., 1923). Исследовательница активно печатается на родине и за рубежом. В числе ее работ — «Западные паломничества в средние века» (Пг., 1924), «Крестом и мечом: Приключения Ричарда Львиное Сердце» (Л., 1925), небольшие очерки, продолжившие ее крестовые штудии. Их смело можно было бы числить по разряду столь чтимой сейчас исторической антропологии. Автора интересовали прежде всего сами люди тех далеких от нас веков и то, как они воспринимали виденное в чужих краях, как рассказывали об этом. Научно-популярные по изложению, труды демонстрировали отнюдь не поверхностное знание предмета.

Разносторонние познания О. А. Добиаш-Рождественской неожиданно оказались востребованными даже в сфере большой политики. По условиям Рижского договора 1921 г. Советская Россия обязалась вернуть полякам манускрипты и книги из Библиотеки братьев Залуских и других польских собраний, вывезенные в свое время в Петербург и хранившиеся в Публичной библиотеке²⁵. Созданная для этой цели специальная комиссия не всегда была способна разобраться в том, что из сокровищ библиотеки подлежит передаче, а что нет, и мнение эксперта, каким назначили Ольгу Антоновну, зачастую решало споры. Никто лучше нее не знал западноевропейские рукописные фонды ГПБ, где она проработала долгие годы, вырастив собственную школу палеографов и архивистов. Многие из раритетов ГПБ были ею впервые введены в научный оборот.²⁶ Заслуги Добиаш-Рождественской перед исторической наукой получили заслуженное признание. В 1929 г. по представлению Н. П. Лихачева, С. Ф. Платонова и В. П. Бузескула ее избрали членом-корреспондентом АН СССР.

Такие вехи на жизненном пути исследовательницы дадут в послевоенные времена превосходный материал для ее парадных биографий. Читая их, надлежит, однако, не упускать из виду, что многое в них — либо по конъюнктурным соображениям, либо по неведению — было оставлено «за кадром». Не писали их авторы ни о принадлежности Добиаш-Рождественской к партии кадетов, ни о том, что в 1919 г. это послужило причиной ее месячного пребывания в тюрьме. Поводов для скромных умолчаний или уклончивых формулировок набиралось немало. И после гражданской войны сотрудники ВЧК и ОГПУ не оставляли Ольгу Антоновну своим вниманием: неоднократно производились обыски, изъятия корреспонденции, допросы, нависала (особенно когда стали раскручивать «Академическое дело») реальная опасность нового ареста.

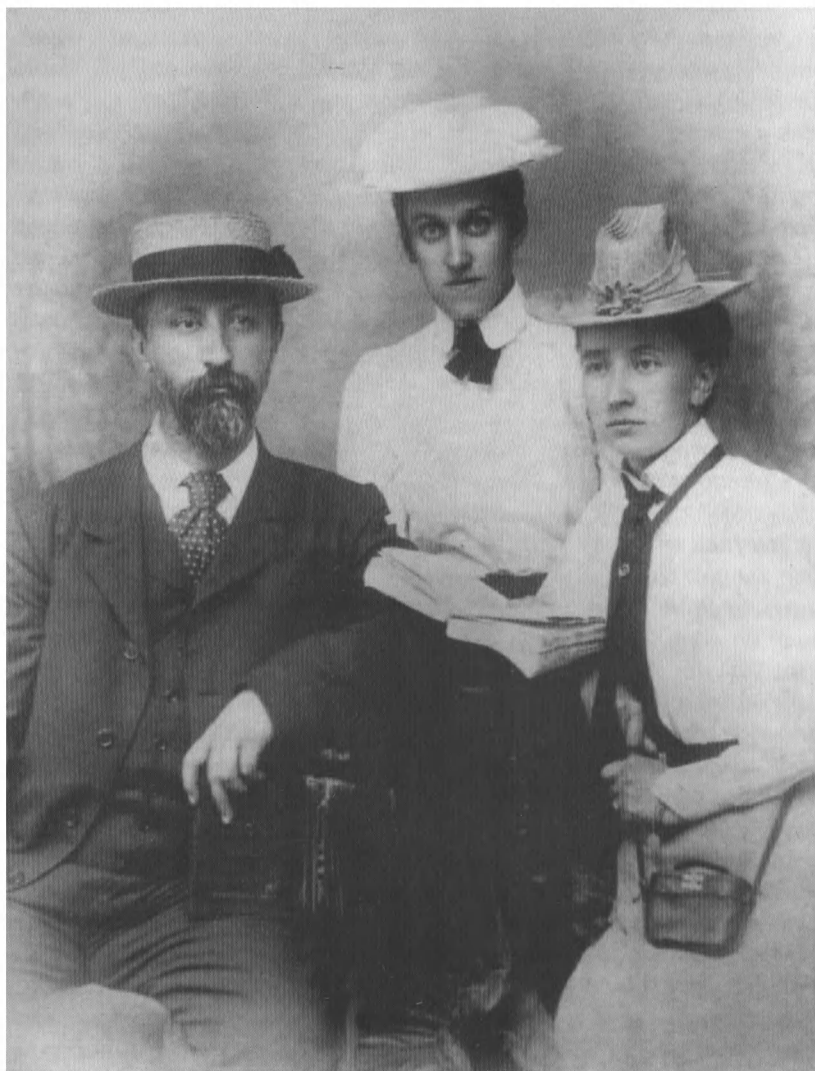
Университетские инстанции относились к ней, по меньшей мере, настороженно. Она раздражала, например, присущим ей стремлением детально разобраться в душевных порывах средневековых монахов и рыцарей, своей явной симпатией к крестоносному движению. В этом виделся прямой вызов советским порядкам и новым, марксистско-ленинским веяниям в исторической науке. В 1923 г. ее переводят на кафедру вспомогательных исторических дисциплин, оставив за ней чисто прикладные занятия. До 1925 г. Добиаш-Рождественская числится в штате, еще четыре года ей разрешают безвозмездно вести со студентами занятия по палеографии. А в 1929 г.



И. М. Гревс



М. В. Левченко



И. М. Гревс с домашними



И. М. Гревс со студентами



О. А. Добиаш-Рождавская



О. Л. Вайнштейн (третий справа)



Сотрудники кафедры (слева направо): О. Е. Иванова, А. Д. Люблинская, Чен Чэн,
В. В. Штокмар



Празднование 70-летия М. А. Гуковского в Актовом зале Ленинградского университета



Преподаватели кафедры истории Средних веков со студентами



М. А. Гуковский и В. И. Рутенбург со студентами-медиевистами

она будет окончательно уволена из ЛГУ, что почти совпало с ее избранием в Академию. От предполагавшегося увольнения из Публичной библиотеки ее, говорят, уберегло в 1930 г. только личное заступничество влиятельнейшего академика-лингвиста, создателя официально признанного «нового учения о языке» Н. Я. Марра.²⁷

В цитируемом выше письме 1923 г. И. М. Гревс, говоря об университетских делах, с удовольствием отмечал также успехи другой своей ученицы: «А. И. Хоментовская преподает в университете, становится прекрасным историком».²⁸ Окончив в 1916 г. историко-филологический факультет университета (и за девять лет до того закончив физико-математический факультет Бестужевских курсов), Анна Ильинична Хоментовская (1881–1942), специализировавшаяся по истории итальянской культуры, была оставлена для подготовки к профессорскому званию, а с 1919 г. зачислена в штат.²⁹

Хоментовская (в девичестве Шестакова) имела несчастье родиться в семье генерала и, как она сама говаривала с горьковатой иронией, знать иностранные языки, недоступные следователям и судьям.³⁰ Из университета ее изгнали в 1923 г. В последующие годы ученицу Гревса и Добиаш-Рожественской не раз арестовывали по нелепым обвинениям, она перебивалась по преимуществу случайными заработками, закончив свои дни осенью 1942 г. в очередной ссылке. Напечатать она смогла лишь малую долю сделанного. Книга о Лоренцо Валле стараниями В. И. Рутенбурга дойдет до читателей в 1964 г.³¹ Еще спустя 30 лет А. Н. Немилов, А. Х. Горфункель и В. И. Рутенбург позаботятся об издании капитального исследования «Итальянская гуманистическая эпитафия», работу над которой исследовательница завершила в середине 1930-х годов.³² Судьба А. И. Хоментовской трагична, но ее не назовешь уникальной. Мало кого из ленинградских медиевистов той генерации совсем обошли стороной увольнения по политическим мотивам, допросы и иные формы общения с советским правосудием.

Общее представление как о более зрелом поколении, так и о только-только начинавшем тогда свой путь в науке медиевистах из школы И. М. Гревса и О. А. Добиаш-Рожественской способна в какой-то мере дать изданная в 1925 г. в Ленинграде книга «Средневековый быт: Сборник статей, посвященный Ивану Михайловичу Гревсу в сорокалетие его научно-педагогической деятельности». В сборнике (который, стоит подчеркнуть, увидел свет в ту пору, когда юбиляра уже отставили от университета) участвовали Е. Ч. Скржинская, А. Д. Стефанович (по мужу Люб-

линская), А. И. Хоментовская, М. А. Гуковский, В. С. Люблинский и др. По этому, во многих отношениях заслуживающему почтения, сборнику — вместе с изданными ранее такими книгами, как «Абеляр» Г. П. Федотова (Пг., 1920), «Кастильоне — друг Рафаэля» А. И. Хоментовской (Пг., 1923) и др., — видно, насколько высок был тогдашний уровень университетской исторической науки. Знакомство с этими трудами не может в то же время не наводить на грустную мысль, что недюжинный творческий потенциал этой научной школы в силу внешних обстоятельств смог реализоваться лишь в минимальной степени. При желании не так сложно подыскать объяснения и оправдания данному факту. Однако (если уж не говорить о поломанных человеческих судьбах) все равно никуда не уйти от констатации: петроградско-ленинградская университетская медиэвистика в ходе систематически проводимых идеологических кампаний и чисток фактически оказывалась за порогом университета, поневоле уступая свое место глашатаям идей примитивных, но зато созвучных проводимой в стране политике.

Между тем малоосмысленные преобразования, которые у современников вызывали рискованные ассоциации с басней Крылова «Квартет», не кончались. В 1929 г. ямфак (факультет языкознания и материальной культуры), за четыре года до того возникший при перекройке факультета общественных наук (в него с 1919 г. были слиты воедино гуманитарные факультеты университета), переделали в факультет историко-лингвистический. На следующий год его вовсе вывели из состава университета, превратив в самостоятельный Ленинградский институт истории, философии и лингвистики (ЛИФЛИ).³³ История докапиталистических формаций, вполне понятно, по-прежнему изучалась там односторонне.

Так что к 1934 г. ленинградская медиэвистика подходила в сильно расстроенном состоянии. Несмотря ни на что, еще не успели выветриться ее старые традиции. Оставались первоклассные специалисты. Но у них, даже в лучшем случае, не было возможности работать в полную силу и передавать свои знания студентам.

¹ См.: Исторический факультет Санкт-Петербургского университета: 1934–2004: Очерк истории. СПб., 2004.

² Вебер Б. Г. Историографические проблемы. М., 1974. С. 107.

³ Цит. по: Там же. С. 109.

⁴ Из огромной литературы, посвященной Васильевскому, назовем: Курбатов Г. Л. История Византии (историография). Л., 1975. С. 85, 106–110; Литтаерин Г. Г. Василий Григорьевич Васильевский — основатель Санкт-Петербургского университета. М., 1998. С. 10–11.

бургского центра византиноведения (1838–1899) // Византийский временник. Т. 55 (80). М., 1994. С. 1–21; *Заливалова Л. Н.* Василий Григорьевич Васильевский (Материалы к биографии). Кострома, 1998. В настоящее время Л. Н. Заливаловой подготовлены к публикации в издательстве «Алетей» лекции по истории средних веков, читавшиеся В. Г. Васильевским на протяжении ряда лет в Петербургском университете.

⁵ *Гревс И. М.* В. Г. Васильевский как учитель науки. СПб., 1899. С. 14, 17 (оттиск из «Журнала Министерства народного просвещения». 1899. № 8).

⁶ См.: *Лебедева Г. Е., Якубский В. А.* Ф. И. Успенский и Петербургский университет // История и культура: Актуальные проблемы. СПб., 2005.

⁷ *Успенский Ф. И.* Петербургский университет в 1867–1871-е годы (По воспоминаниям студента) // Дела и дни: Исторический журнал. Кн. 1. Пг., 1920.

⁸ *Карсавин Л. П.* Введение в историю: Теория истории. Пг., 1920. С. 30–32.

⁹ *Гутнова Е. В.* Историография истории средних веков. М., 1985, и мн. др.

¹⁰ См.: *Ястребицкая А. Л.* Лев Платонович Карсавин // Портреты историков: Время и судьбы. Т. 3. М., 2004. С. 456–457 и др.

¹¹ *Каганович Б. С.* Русские медиевисты первой половины XX в. СПб., 2007. С. 5.

¹² *Лаптева Л. П.* История славяноведения в России в XIX в. М., 2005. С. 10–11.

¹³ См.: *Каганович Б. С.* Русские медиевисты первой половины XX в. С. 51.

¹⁴ *Ватромеева О. Б.* Человек с открытым сердцем: Автобиографическое и эпистолярное наследие Ивана Михайловича Гревса. СПб., 2004. С. 305.

¹⁵ *Анциферов Н. П.* Из дум о былом: Воспоминания. М., 1992. С. 178.

¹⁶ *Каганович Б. С.* Русские медиевисты первой половины XX в. С. 105.

¹⁷ См. рец.: *Малеин А. И.* Русская книга об Юлиане Отступнике // *Анналы*. 1923. Т. 3.

¹⁸ *Розенталь Н. Н.* Исторический путь Запада. Л., 1926. С. 293.

¹⁹ *Чистозвонов А. Н.* Некоторые аспекты проблемы генезиса абсолютизма // Вопросы истории. 1968. № 6. С. 46–47.

²⁰ Цит. по: *Добкин А. И.* Примечания // Анциферов Н. П. Из дум о былом: Воспоминания. М., 1992. С. 430.

²¹ *Лебедева Г. Е., Якубский В. А.* Ф. И. Успенский и Петербургский университет. С. 243–244.

²² См.: *Ватромеева О. Б.* Приглашение к путешествию: Методика исторических поездок И. М. Гревса. СПб., 2007.

²³ Там же. С. 304.

²⁴ *Ватромеева О. Б.* Человек с открытым сердцем... С. 303–304.

²⁵ См.: *Моричева М. Д.* Библиотека Залуских и Российская национальная библиотека. СПб., 2001.

²⁶ Средневековые в рукописях Публичной библиотеки. Вып. 1–2. Л., 1925–1927 и др.

²⁷ *Каганович Б. С.* Русские медиевисты первой половины XX в. С. 116–123.

²⁸ *Ватромеева О. Б.* Человек с открытым сердцем... С. 304.

²⁹ См.: *Хоментовская А. И.* Пройденный путь // Хоментовская А. И. Итальянская гуманистическая эпитафия. СПб., 1994. Приложение. См. также: *Каганович Б. С.* Анна Ильинична Хоментовская // Средние века. Вып. 52. М., 1989; *Ревякина Н. В.* Несгибаемый дух // Средневековый город. Вып. 17. Саратов, 2006.

³⁰ Цит. по: *Ревякина Н. В.* Там же. С. 140.

³¹ Хоментовская А. И. Лоренцо Валла — великий итальянский гуманист. Л., 1964.

³² Хоментовская А. И. Итальянская гуманистическая эпитафия.

³³ Дворниченко А. Ю., Тихонов И. Л. Историческому факультету — 70 лет // Исторический факультет Санкт-Петербургского университета: Очерк истории. СПб., 2004. С. 12.

ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

Предвоенная кафедра истории средних веков исторического факультета Ленинградского университета, созданная в соответствии с постановлением Совнаркома и ЦК ВКП(б) от 16 мая 1934 г., ассоциируется прежде всего с именами И. М. Гревса и О. А. Добиаш-Рожественской, представлявших профессию старой, дореволюционной закалки, О. Л. Вайнштейна и М. А. Гуковского, принадлежавших к следующему, уже марксистского толка, поколению отечественных медиевистов. Говоря о кафедре тех лет, зачастую вспоминают и более молодых историков, которые тогда, в середине — второй половине 1930-х годов, формировались как исследователи, — таких как А. Д. Люблинская или И. В. Арский. Но нигде, насколько знаем, в подобном контексте не фигурирует Н. Н. Розенталь. Его фамилию медиевисты эпизодически называют в историографических очерках, но вне связи с кафедрой. А между тем Розенталь был ее первым заведующим. Впрочем, он заслуживает внимания не только поэтому. Судьба Розенталя, бесспорно незаурядного ученого, о котором мы уже говорили, по-своему характерна для ранней советской медиевистики.

К началу 30-х годов Николай Николаевич Розенталь, в духе времени, уже отошел от увлечения идеями М. Н. Покровского, перестал на каждом шагу рассуждать о торговом капитале и его роли во всемирной истории. Ему на себе довелось испытать превратности судьбы, связанные со все обострявшейся грызней среди историков-марксистов. Приемы фракционной борьбы, не утихавшей в партии, тогда постоянно переносились и на научную почву. Рьяно выискивая в своих рядах скрытых меньшевиков, левых и правых уклонов и прочих отступников от марксизма-ленинизма, ортодоксы громили их с еще большим азартом, чем так называемых буржуаз-

ных ученых. В зависимости от зигзагов партийной политики иной раз менялись роли: вчерашний гонитель оказывался гонимым, и наоборот.

В 1930 г. в журнале «Историк-марксист» появилась статья М. Волина, где изобличались ошибки увидевшей свет за три года до того книги Н. Н. Розенталя «История Европы в эпоху торгового капитализма». Автору ставились в вину великодержавный шовинизм (рассказывая об этом эпизоде в 1968 г., О. Л. Вайнштейн прокомментирует: «без всяких оснований»), непонимание колониального характера царской России (по Вайнштейну: «с известными основаниями»¹). Заодно Волиным был вынесен безапелляционный приговор: «В лице Розенталя мы имеем один из ярких образчиков псевдомарксизма, в его книге — попытку под марксистской фразеологией скрыть свою буржуазную, далекую от марксизма и ему враждебную сущность».² В ту пору печатная аттестация такого рода не звучала еще столь убийственно, как года через четыре, и Розенталь тогда перенес удар без особого для себя урона.

От своих ранних работ он самокритично отрекся и как ни в чем не бывало продолжал участвовать в обличительных кампаниях, нападая, в частности, на Е. В. Тарле. Его самого тоже не забывали в ходе взаимных изобличений. Так, в резолюции «О положении и задачах на фронте исторической науки», принятой 5 февраля 1931 г. на объединенном заседании ячейки ВКП(б) Института истории ЛОКА³ и фракции Ленинградского общества историков-марксистов, он фигурировал среди «попутчиков», чьи «антимарксистские концепции», по мнению собравшихся, разоблачались все еще недостаточно. В другом месте того же насыщенного инвективами документа — там, где перечислялись различного рода прегрешения и их носители (например, «псевдомарксисты, прикрывающие марксистской фразеологией буржуазные концепции», одним из каковых оказался будущий академик С. Д. Сказкин), — Розенталю было отведено место в малопонятной категории «протаскивающих идеологические концепции».⁴

Подобные обвинения все же не помешали Н. Н. Розенталю активно работать. Он участвовал в разворачивавшихся в начале 30-х годов острых дискуссиях по проблемам феодализма. Опубликовал статью «К вопросу о развитии форм эксплуатации в западноевропейском обществе в период возникновения феодализма» (Проблемы истории материальной культуры. 1933. № 9–10). На пленуме ГАИМК (Государственной академии истории материальной культу-

ры), собравшемся летом 1933 г. и посвященном основным проблемам генезиса и развития феодального общества, выступил по вопросу об основном противоречии феодальной формации. Где-то на грани проблемности и разоблачительности (с перевесом в сторону последней) стояла его большая статья «Проблемы западноевропейской средневековой истории в освещении Допша-Петрушевского» (Проблемы марксизма: Статьи и исследования. Т. 2. Л., 1930), в которой автор отдал дань долго не угасавшей в марксистских кругах оголтелой критике в адрес «Очерков из экономической истории средневековой Европы» Д. М. Петрушевского.

Розенталь по-прежнему печатался много и на разные темы. К примеру, когда будет реабилитировано преподавание гражданской истории в школе, он в помощь учителям напишет инструктивные статьи «Образование варварских государств» (История в средней школе. 1934. № 2) и «К вопросу о классовой сущности готического искусства» (Там же. 1935. № 1).

Из его работ первой половины 30-х годов привлекает к себе внимание весьма характерная для той эпохи статья «Маркс и буржуазная историческая наука о западноевропейском феодализме», приуроченная к торжественной дате — пятидесятилетию со дня смерти основоположника марксизма. О значении, какое придавали ей сам автор и руководство ГАИМК, где он работал, свидетельствует двукратная публикация: сначала статья увидела свет в 84-м выпуске «Известий ГАИМК» (Л., 1934), а затем была воспроизведена в толстом томе, каковой являл собой 90-й выпуск все тех же «Известий ГАИМК», «Карл Маркс и проблемы истории докапиталистических формаций: Сборник к пятидесятилетию со дня смерти Карла Маркса» (М.; Л., 1934), так Академия откликнулась, правда, с некоторой провололочкой, на юбилей.

Статья демонстрирует хорошее знание Розенталем научной литературы — старой и новой, его умение работать с материалом. Но на современного читателя она может произвести впечатление стандартного коллажа из классических цитат и столь же стандартных поношений буржуазной науки эпохи империализма. Едва ли такая оценка была бы справедливой. В том, что автор не терпел Фюстель де Куланжа, а еще больше — Допша с Петрушевским и возводил на них немало напраслины, сомневаться не приходится. Хватало в статье и достаточно избитых трюизмов вместе с реверансами в сторону всепобеждающего учения. И все-таки дело вовсе не сводилось лишь к повторению культивируемых у нас в ту пору пропаган-

дистских слоганов. Убедиться в этом проще всего, сопоставив произведение Н. Н. Розенталя с появившейся несколькими месяцами раньше и близкой по тематике статьей А. И. Тюменева «Марксизм и буржуазная историческая наука». Тюменев, недавно избранный академиком (в 1932 г.), известный специалист по древней истории (в упомянутом 90-м выпуске «Известий ГАИМК» присутствовал и его очерк «Разложение родового строя и революция VII–VI вв. в Греции»), на сей раз выступил как авторитет в области историографии и методологии. Место, где была напечатана его статья, — книга «Памяти Карла Маркса: Сборник статей к пятидесятилетию со дня смерти — 1883–1933» ([Л.], 1933) — придавало ей дополнительный вес: книга готовилась под крылом непосредственно самой Академии наук СССР, а не просто одного из академических учреждений (как «Известия ГАИМК»), среди ее авторов преобладали весьма именитые ученые.

Похоже, что в интересующей нас статье (к слову сказать, в сборнике одной из самых больших по объему — примерно 6 печатных листов) излагались не только личные соображения А. И. Тюменева. Скорее всего, соображения эти следовало воспринимать как официальную установку, каковой надлежало руководствоваться историкам.

Главная мысль академика состояла в том, что «упадок буржуазной исторической науки начался не со вчерашнего дня. Уже более столетия буржуазная общественно-историческая мысль движется не вперед, а назад».⁵ По поводу Ф. Гизо, Ф. Минье, О. Тьерри было сказано, что «обыкновенно их изображают как сторонников классовой теории и непосредственных предшественников Маркса». Сама конструкция фразы предполагала несогласие. И действительно, по Тюменеву, «не историки времени реставрации, вступившие на путь откровенной буржуазной реакции, являются непосредственными предшественниками Маркса, как принято думать, но сенсимонисты».⁶ Поскольку, как не уставал повторять академик, у Тьерри и его собратьев понятие классов постоянно сбивалось на понятие сословия и даже нации, а классовая борьба подменялась борьбой сословной и национальной, их труды «представляют шаг назад», отступление от «чисто классовой точки зрения» Сен-Симона, возврат к старой идее о борьбе расы побежденной против завоевателей.

От социального учения Сен-Симона и философии Гегеля буржуазная наука, по убеждению Тюменева, способна была идти

только по пути реакции. Соответственно оценен позитивизм: он «перевел окончательно общественную мысль буржуазии с материалистических на идеалистические рельсы, лишив ее вместе с этим всякого научного значения». Дальнейшее движение рисуется в еще более мрачных тонах. А. Допш, М. Вебер, Р. Ю. Виппер, Д. М. Петрушевский и многие другие удостоены самых нелестных эпитетов. Короче, «мысль буржуазных историков за все это время шла не вперед, а назад».⁷

Высоко оценив заслуги А. И. Тюменева перед наукой, Э. Д. Фролов считал возможным противопоставить начетничеству и догматизму массы порожденных советским режимом усредненных историков-пропагандистов «ученую деятельность таких высокоинтеллигентных людей, еще до революции увлекшихся марксизмом и позднее, в советское время, с умом и совестью прилагавших его к истории, как А. И. Тюменев».⁸ Но, на наш взгляд, тюменевская статья 1933 г. заставляет несколько усомниться в точности такого разделения. Изложенная в ней по-своему целостная концепция — а Тюменев не был ни первым, ни последним глашатаем подобных идей — лишний раз убеждает в том, что послевоенная антикосмополитская кампания выросла не на пустом месте. М. А. Алпатов, к примеру, был не так уж оригинален, когда заявлял по поводу высказываний М. В. Ломоносова о падении Рима: «Следует подчеркнуть, что вся последующая буржуазная историография XIX и особенно XX в. не только не прибавила чего-либо принципиально нового к этой картине гибели Римской империи, но, как правило, шла назад».⁹ Конечно, Алпатов и его собратья по перу — с подачи Отдела науки ЦК партии — существенно дополнили классовый подход откровенной ксенофобией. Конечно, после войны изменились масштабы и накал идейной борьбы. Но, как видно, база закладывалась задолго до того, и А. И. Тюменев в этом деле не отставал от «историков-пропагандистов», как назвал их Э. Д. Фролов

В сравнении со статьей академика статья Н. Н. Розенталя определенно выигрывает. Последний следовал за Марксом (которого усердно цитировал) и за Г. В. Плехановым (которого даже не упоминал), т. е. признавал заслуги «французских историков эпохи Реставрации», именуя Огюстена Тьерри «отцом классовой борьбы» и не объявляя сен-симонизм высшим достижением буржуазной исторической мысли. Вместе с тем Розенталь тоже полагал, что буржуазная наука уже растеряла свой творческий потенциал и способна лишь деградировать — что поделать, в советские времена

этот тезис стал аксиомой! Розенталем в очередной раз был обруган Д. М. Петрушевский, который якобы не понимает даже того, что было ясно еще Вольтеру. Им же осуждена «чудовищная фальшь новейших реакционных историков [...]», начиная с Фюстель де Куланжа». ¹⁰ Бросаются в глаза его голословные выпады против буржуазных ученых, увенчанные выводом (который, понятно, имел в виду только немарксистские школы): «... Все то, что писалось в последнее время о западноевропейском феодализме, ни в какой степени не выдерживает критерия научности. Нет надобности, конечно, останавливаться на новейших произведениях буржуазной историографии, которая в эпоху загнивания капитализма окончательно утратила способность "исторического разума"». ¹¹ Но в итоге он, по меньшей мере, вдвое урезал период загнивания немарксистской науки, реабилитировав предшественников Фюстель де Куланжа.

В полемику с Тюменевым по поводу периодизации исторической мысли XIX в. Розенталь, разумеется, не вступал — иначе получилось бы, что он защищает даже не отдельных буржуазных авторов, а буржуазную историческую науку в целом от принципиальной критики со стороны советского академика. Зная порядки тех лет, такую ситуацию вообще трудно себе вообразить. Выход у Розенталя был один — не заикаясь о существовании столь радикальной концепции, излагать свою точку зрения, благо тут можно было опереться на недвусмысленные заявления самого Маркса (заявления, которые Тюменев приводил выборочно и истолковывал на свой лад). Впрочем, нельзя здесь не отметить и другое: А. И. Тюменев также не выразил желания полемизировать и даже проявил терпимость к иномыслию. Ему, занимавшему высокое положение в ленинградской ученой иерархии, одному из руководителей ГАИМК, ничего не стоило просто не допустить публикации статьи, идущей вразрез с его взглядами.

Когда в мае 1934 г. было предписано возродить преподавание гражданской истории и в Ленинградском университете стали создавать исторический факультет, Н. Н. Розенталя назначили заведующим кафедрой истории средних веков. В пользу его кандидатуры говорила, очевидно, кипучая и созвучная духу времени деятельность ученого. У него был и опыт педагогической работы. О Розентале-лекторе лет через семьдесят добрым словом вспомнит Г. Р. Левин, видный специалист по истории Английской революции, повествуя о своем поступлении в далеком 1933 г. на социально-экономическое отделение Педагогического института

им. А. И. Герцена: «Запомнился мне и профессор Николай Николаевич Розенталь, который очень живо излагал нам краткую историю феодального общества». ¹² В лаконичные автобиографические записки Г. Р. Левина попали, заметим, имена лишь весьма немногих из встретившихся ему на жизненном пути людей.

При назначении Н. Н. Розенталя, судя по всему, немалую роль сыграло покровительство Г. С. Зайделя. Сейчас это имя мало кому что-то говорит, но в начале 1930-х годов особых пояснений не требовалось. Зайделя знали как одного из самых ретивых разоблачителей «классового врага на историческом фронте». Деляя на этом карьеру, он, к тому времени директор Института истории Ленинградского отделения Коммунистической академии, в мае 1934 г. стал первым деканом исторического факультета ЛГУ, одновременно возглавив на истфаке кафедру истории нового времени. Розенталь же, как говорилось выше, также участвовал — пусть не с такой железной хваткой — в кампаниях против Д. М. Петрушевского, Е. В. Тарле и других, и декан, очевидно, поддержал соратника, хотя ранее его достаточно сурово критиковал (Зайдель, в частности, руководил тем объединенным заседанием ревнителей чистоты марксизма, чья резолюция с выпадами в адрес Розенталя цитировалась выше).

Первое, что предстояло сделать свежееиспеченному заведующему кафедрой, существующей пока только на бумаге, было заполнение пустующих штатных единиц. К чести Розенталя, он предпочел в этом деле ориентироваться не на любителей громких квазимарксистских фраз, а на профессионалов, профессуру дореволюционного образца. Уже 9 июня 1934 г. О. А. Добиаш-Рождественская, сообщая в письме Д. М. Петрушевскому о новостях («Их немало. Они хорошие»), начала их перечисление с того, что: «1. Ив[ан] Мих[айлови]ч [Гревс] получил предложение вести в будущем году “сверхсеминарий” по Дино Кампани в Университете аспирантам — в самой милейшей форме [...]: “Мы Вас знаем. Будьте тем, что Вы есть”. И. М. согласился и, по-моему, глубоко доволен [...].

2. Я получила предложение вести для тех же аспирантов курс по палеографии с практическими занятиями и семинар по истории». ¹³

Как у первого заведующего кафедрой складывались отношения с его старым учителем и другими, как тогда выражались, старорежимными профессорами — О. А. Добиаш-Рождественской и выдающимся византиноведом, членом-корреспондентом АН СССР Владимиром Николаевичем Бенешевичем? Как те ощущали себя, после

долгих лет вновь очутившись в университетских стенах? Сведений об этом у нас мало. Должно быть, не напрасно, говоря о себе и о И. М. Гревсе, О. А. Добиаш-Рождественская в письме к нему примерно за месяц до начала занятий размышляла о том, что «не все, конечно, и тут безоблачно [...]». Встают и тревожат разные «но».¹⁴

И. М. Гревса, зачисленного с 1 сентября 1934 г. профессором всеобщей истории на истфак ЛГУ и одновременно привлеченного к работе с аспирантами в ЛИФЛИ, где он работал также под началом Н. Н. Розенталя, и радовало возвращение к любимой работе, и тревожило. «Не без волнения приступаю после 11-летнего перерыва; не знаю, как удастся вновь войти в работу, которая прежде наполняла жизнь. [...] Жалею, что столько лет пропало даром!», — писал он Н. П. Анциферову 3 сентября 1934 г. Два месяца спустя в письме к этому же давнему своему ученику он вернется к больной теме: «Настроение только перебивается досадным чувством, что столько лет у меня прошло, как я был оторван от научного и профессионального дела». Гревс жаловался на низкий уровень подготовки аспирантов и студентов. По этой причине у него были некоторые претензии к Розенталю: тот «навязал мне семинарий по Дино Кампаньи, который осуществить невозможно». Относительно самого Розенталя Гревс выразился неопределенно: «С Н. Н. Розенталем отношения наружно дружественные, что внутренне — не разберешь». Все-таки письмо заканчивалось на более или менее оптимистической ноте: «Вообще во всех учебных заведениях ко мне и к Ольге Антоновне [Добиаш-Рождественской] выражают внимание и почтение».¹⁵

Университетская карьера Н. Н. Розенталя и его патрона Г. С. Зайделя оборвалась, когда после убийства С. М. Кирова Ленинград накрыла волна политических репрессий. Зайдель, имевший неосторожность некогда, в 1923 г., на каком-то из собраний проголосовать не за резолюцию ЦК партии, а за проект Карла Радека, в январе 1935 г. лишился своих постов, был исключен из партии. После месячного ареста его выслали в Саратов. Там весной 1936 г. «враг народа» был вновь арестован и год спустя расстрелян.¹⁶ Н. Н. Розенталю близость к Зайделю не прошла даром. Приказ № 153 по истфаку от 26 апреля 1935 г. предписывал задним числом Розенталя «исключить с 4/IV из списков факультета».

Как понимать эту формулу из его личного дела, хранящегося в университетском архиве? В перестроечные годы Розенталь назывался в числе репрессированных в середине 30-х годов сотрудников

Ленинградского университета.¹⁷ В пользу версии говорит отсутствие его имени в изданной в 1940 г. «Историографии средних веков» О. Л. Вайнштейна, где о ленинградской медиевистике рассказывалось достаточно подробно. Но как бы то ни было — избежал ли Розенталь каким-то образом ареста, или вскоре был освобожден, но в июле 1940 г. в ЛГУ поступил запрос из Курского педагогического института, и туда были отправлены материалы личного дела профессора (сейчас его личное дело, хранящееся в университетском архиве, содержит всего несколько листов). До начала войны историк успел опубликовать в Курске статью о готах в Италии.¹⁸

Больше судьбы истфака ЛГУ и Н. Н. Розенталя не пересекались. В 1943 г., будучи в эвакуации в Туркмении и обратившись к проблематике, какой занимался в молодости, он защитит докторскую диссертацию «Социальные основы языческой реакции императора Юстиниана».¹⁹ После войны он выступит со статьями на тему о мировоззрении поздней античности, о происхождении и сущности христианства, издаст научно-популярную брошюру о Жанне д'Арк.²⁰

После увольнения Н. Н. Розенталя временно исполняющим обязанности заведующего кафедрой истории средних веков назначили профессора Александра Евгеньевича Кудрявцева, специалиста по истории Англии и Испании, больше связанного с Педагогическим институтом им. А. И. Герцена, чем с университетом. Подыскать постоянную замену оказалось непросто. Ученые старой закалки были не в ладах с марксизмом-ленинизмом (а нередко и с бдительным отделом кадров). Среди политически ангажированных молодых историков тоже долго не находилось подходящего кандидата. В конце концов выбор остановили на одессите Осипе Львовиче Вайнштейне. Его появление И. М. Гревс так прокомментировал в письме к Д. М. Петрушевскому от 18 сентября 1935 г.: «Есть новое лицо: приглашен из Одессы историк Вайнштейн, отчасти медиевист. Производит впечатление знающего человека [...]. Сразу назначен в исторический факультет Университета заведующим кафедрой средней истории через голову всех остальных». Признав, что «поведение его культурное», Гревс заключал: он кажется более подходящим, чем «Кудрявцев, Щеголев и подобные».²¹

Начавшееся осенью 1935 г., правление профессора Вайнштейна продлится полтора десятилетия, наложив сильный отпечаток на облик кафедры, на ее традиции. Все привыкнут смотреть на него как на основоположника кафедры, тогда как недолгое пребывание

на ней Н. Н. Розенталя будет попросту забыто. Осипу Львовичу по праву поставят в заслугу, что он, марксист-ортодокс, привлекал к преподаванию ученых старой, немарксистской выучки. Это безусловно так. Однако в вопросе так называемой кадровой политики между Н. Н. Розенталем, на долю которого выпал изначальный подбор преподавательского коллектива, и О. Л. Вайнштейном имела место прямая преемственность. Придя на кафедру, Осип Львович уже застал там В. Н. Бенешевича, И. М. Гревса, О. А. Добиаш-Рожественскую.

О. Л. Вайнштейн (1894–1980) получил хорошую медиевистическую подготовку в Новороссийском (Одесском) университете, где его учителями были П. М. Бицilli, В. Э. Крусман, Е. Н. Щепкин. Его студенческое сочинение «Начало раскола в францисканском ордене» удостоилось золотой медали. Медиевистику он не забросил и после окончания университета (1919), опубликовав ряд работ, в том числе небольшой «Очерк историографии западноевропейского феодализма» (1932). Занятия Средневековьем профессор (с 1927 г.) Одесского университета сочетал с выступлениями на политически актуальные темы, писал о Великой французской революции и Парижской коммуне. Членом партии не был, но стал одним из основателей и активистов украинского отделения Общества историков-марксистов. Вдобавок он зарекомендовал себя умелым организатором.

Возлагаемые на него университетским руководством надежды Осип Львович оправдал. Возглавив ленинградскую кафедру, он твердо проводил «партийную линию». Изобличал увлечения допшианством и иными, на его взгляд, антимарксистскими теориями. В то же время Вайнштейн умел находить общий язык с такими видными представителями старой профессуры, как И. М. Гревс и О. А. Добиаш-Рожественская. Привлекал к работе на кафедре их учеников. Будучи профессионалом высокого класса, требовал профессионализма и от сотрудников, заботился о подготовке аспирантов. Им были укреплены связи кафедры с другими научными учреждениями Ленинграда — Ленинградским отделением Института истории АН СССР, Публичной библиотекой, Эрмитажем. Благодаря этому в университете усилиями М. В. Левченко и других активизировались византиноведческие штудии. Если по научному уровню, да и по авторитету, наша кафедра в предвоенные годы продолжала стоять примерно вровень со своим московским аналогом, если в крайне трудных, драматичных обстоятельствах ею не

были окончательно утрачены традиции петербургской школы и новое, воспитываемое в марксистском духе поколение исследователей достаточно успешно входило в науку, то в этом была, бесспорно, и немалая заслуга Осипа Львовича.

Больным местом с первых же шагов новой кафедры оказался общеобразовательный уровень студентов и аспирантов. Он был явно недостаточен, и не только у И. М. Гревса были все основания сокрушаться по этому поводу. Да и чего можно было ждать от выпускников школ второй ступени, рабфаков, совпартшкол, получивших там одностороннюю, отрывочную и убогую информацию об истории человечества. Примером используемой тогда учебной литературы может служить вышедший в 1931 г. пятым изданием «Учебник истории классовой борьбы» Ю. М. Бочарова и его соавторов. В новом издании, как с удовлетворением уведомляло предисловие, были сделаны «добавления, преимущественно касающиеся последних событий (XVI съезда ВКП(б), раскрытия контрреволюционных вредительских организаций...)»,²² но лучше от этого книга, естественно, не стала.

В те годы О. А. Добиаш-Рождественская составила «План занятий для студента, избирающего своей специальностью средние века», недавно опубликованный и прокомментированный Л. И. Киселевой.²³ Едва ли в этом плане, рассчитанном на подготовку медиевиста-исследователя (или, в упрощенном варианте плана, — на формирование общеобразованного историка, учителя средней школы), стоит видеть, как это представляется публикатору, некую новаторскую программу, которая затем стала для кафедры руководством к действию. В план вошли самые обычные для старого, дореволюционного университетского преподавания само собой разумеющиеся пункты. Но в 1930-е годы многие из них оказывались почти что недостижимыми, и потому составителю плана не оставалось ничего другого, как настойчиво повторять, что студенту необходимы семинарские занятия и коллоквиумы, что ему не обойтись без знания языков.

Катастрофически не хватало учебной литературы для высшей школы. Понимая это и получив соответствующее предписание из Москвы, Государственная академия истории материальной культуры (ГАИМК) в сотрудничестве с кафедрой уже с лета 1934 г. развернула работу над учебником по истории средних веков. Из скоропалительно подготовленного проекта (к которому в дальнейшем мы еще вернемся) ничего не вышло. Не все его участники в доста-

точной мере владели материалом. Представления участвовавших в нем И. М. Гревса или О. А. Добиаш-Рождественской о том, каким должен быть университетский учебник, никак не совмещались с навязываемой руководством трактовкой явлений и процессов в духе вульгаризированного марксизма. Неудача постигла и предпринятую в следующем году, уже под руководством О. Л. Вайнштейна, попытку издать трехтомную «Историю средних веков». Предполагаемыми авторами были заключены соответствующие договоры с ГАИМК, но работа не клеилась, и вскоре проект предали забвению.

Забываясь о том, чтобы дать студентам хотя бы какие-то учебные материалы, Вайнштейн в 1936/37 г. провел стенографирование читаемого им общего лекционного курса. Эти 45 лекций затем были литографированы. Вышло также шесть выпусков его методических указаний по тому же курсу. Одновременно Вайнштейн и его сотрудники готовили к печати стенограммы лекций П. П. Щеголева по истории Западной Европы XVI–XVII вв. Осенью 1937 г. рукопись была сдана в набор.

Умерший в 1936 г. профессор Павел Павлович Щеголев,²⁴ известный специалист по истории Великой французской революции, работал в Ленинградском институте философии, литературы и истории, где с 1935 г. стал заведовать кафедрой истории средних веков. С осени 1934 г. он преподавал также на кафедре новой истории исторического факультета ЛГУ. Курс, стенограммы которого были положены в основу выпущенной стараниями университетских медиевистов книги,²⁵ был прочитан Щеголевым в ЛИФЛИ в 1934/35 учебном году. Вышедшая в 1938 г. книга была встречена с интересом. Многие десятилетия спустя историографы по поводу «Очерков из истории Западной Европы XVI–XVII вв.» с удовлетворением отметят, что «Щеголев был [...] автором одного из лучших учебников того времени».²⁶ С этим вполне можно согласиться, хотя при скудости тогдашней учебной литературы оказаться «одним из лучших» было не так уж трудно.

Что вызывает сомнения, так это попытка тех же историографов доказать концептуальную новизну «Очерков», связав с именем Щеголева и с его посмертно изданной книгой отход советской исторической науки от распространенной прежде трактовки абсолютистского государства как «государства торгового капитала». Приведя серию цитат из «Очерков» П. П. Щеголева, С. Н. и Т. Н. Кондратьевы делают вывод: «Таким образом вместо теории “абсолютистское государство — это государство торгового капита-

ла” была, видимо, впервые предложена теория “абсолютизм есть дворянское феодальное государство, находящееся на определенном этапе своего развития, допускающее к управлению буржуазию и учитывающее ее интересы”». ²⁷

Приписать Щеголеву приоритет в этой области мешает то обстоятельство, что ответственный редактор книги, т.е. О. Л. Вайнштейн, вместе с другими сотрудниками кафедры провел радикальную правку текста, о чем честно предупреждало открывающее книгу предисловие «От редакции». Редакторами были устранены неизбежные в стенограммах повторы, искажения мысли. Литературной правкой дело не ограничилось. Учитывая основное назначение книги — служить учебным пособием для студентов, Вайнштейн и его коллеги сочли себя вправе уточнять фактические данные и хронологию, изменять формулировки, а в отдельных случаях вставлять свои фразы. Смысловые коррективы прежде всего коснулись как раз упоминаний о торговом капитале и его взаимоотношениях с абсолютизмом. Как деликатно объясняет редакционное предисловие, в стенограмме лекций сказывалось, «на наш взгляд, несколько преувеличенное представление автора о роли “торгового капитала”, “торговой буржуазии”. Не вполне осторожное применение этих категорий при анализе социальных отношений, расстановки классовых сил и классовой борьбы в состоянии, местами, вызвать неверное в сущности представление о том, что автор не совсем освободился от влияния школы М. Н. Покровского». Устранив «в наиболее решающих формулировках» следы влияния «школы Покровского» и иные «существенные дефекты», осторожный редактор на всякий случай сделал оговорку: редакция сознает, что «не всюду ей удалось достигнуть этой цели с абсолютным успехом». Не нужно пояснять, что для 1937 г. такого рода идейный пересмотр — произведенный уже не Щеголевым, а университетскими медиевистами — никак не мог считаться новинкой.

Для того времени и для О. Л. Вайнштейна лично весьма показательны те критерии, с которыми ответственный редактор подошел к оценке лекций П. П. Щеголева. В написанной им вступительной заметке среди их «несомненных достоинств» на первое место поставлен тот факт, что предлагаемый читателям лекционный курс отличается «широким использованием относящихся сюда высказываний классиков марксизма-ленинизма». Только после этого, очевидно, самого главного качества перечислены насыщенность фак-

тическим материалом, наличие интересных мыслей, живая форма изложения и пр.²⁸

Параллельно с подготовкой к печати книги П. П. Щеголева Осип Львович совместно с А. Д. Удальцовым и Е. А. Косминским был занят выпуском первого тома учебника по истории средних веков для высшей школы. Помимо трех названных профессоров, выступавших и как редакторы всего издания, к работе привлекли Н. П. Грацианского. Предприятие проходило под эгидой Института истории АН СССР, составление указателя литературы и другие вспомогательные работы выполняли студенты Московского университета. На долю Вайнштейна, помимо хлопотных организационных вопросов (он же выступал и в качестве издательского редактора), пришлось написать трех глав, посвященных культуре Европы с V в. до начала раннего итальянского Ренессанса включительно.

Выпущенный 50-тысячным тиражом, учебник увидел свет в конце 1938 г. К тому времени уже был сдан в печать второй том, посвященный XVI–XVIII вв. (и в основном доведенный — в соответствии с принятой тогда периодизацией — до 1760–1780-х годов). Он выйдет в начале 1939 г. На этот раз общую редакцию осуществляли С. Д. Сказкин и О. Л. Вайнштейн, авторский коллектив был более многочисленным. В число привлеченных вошел и сотрудник Вайнштейна по кафедре М. А. Гуковский, написавший главу «Развитие техники и естествознания в XV–XVIII вв. Новое мировоззрение». В перечне авторов отдельных глав сам Вайнштейн не значился, но на нем лежала основная редакторская работа.

Тридцать лет спустя, оглядываясь на прошлое советской медиэвистики и в том числе оценивая свою работу и работу коллег над университетским учебником по истории средних веков, Осип Львович прежде всего, как положено, скажет о достигнутых успехах. Но тут же оговорится, что успехи были бы еще более значительными, если бы развитие науки не тормозилось «распространенными среди историков пороками» — догматическим отношением к готовым формулам, цитатоманией и т. п. Главную причину «пороков» он увидел в «настоятельной необходимости в кратчайшие сроки подготовить учебники и заложить основы специальной марксистско-ленинской историографии, иными словами, решать общие и частные вопросы своей науки, не имея возможности опираться на подготовительные исследования».²⁹ По его словам, советская медиэвистика была в состоянии черпать необходимый ей фактический материал из немарксистской литературы, отсекая при этом «классовую тен-

денцию буржуазных ученых». Однако по множеству проблем ей все равно не хватало марксистских обобщений и оттого приходилось использовать даже случайные, не являвшиеся результатом исследовательской работы, высказывания марксистско-ленинских авторитетов. В 1968 г., когда это писалось, О. Л. Вайнштейн уже мог говорить о беспочвенности рассуждений И. В. Сталина по поводу «революции рабов» и т. п. В то же время он по-прежнему не был готов ни отойти от априорного тезиса о безусловном превосходстве советской науки над наукой буржуазной, ни признать, что у наших медиевистов просто не было свободы выбора — они были обязаны, вынуждены цитировать Сталина, воспринимая любую его цитату как истину в последней инстанции.

При предпринятом вскоре переиздании первого тома учебника переделки коснулись структуры книги и содержания ряда глав. В датированном сентябрем 1940 г. «Предисловии ко второму изданию», открывающем книгу 1941 г., мотивировались сделанные изменения и дополнения. В частности, объяснялось, что значительные сокращения позволили облегчить учебник от перегружавших его деталей и что «в то же время наиболее важные события и исторические фигуры лучше освещены путем включения новых данных и характеристик, особенно широко заимствованных [...] из “Хронологических выписок” Маркса».³⁰

Предисловие, по вполне понятным причинам, умалчивало о том, что стало предметом особых забот редакции и издательства. Как вспоминал впоследствии Осип Львович, остававшийся и титульным, и издательским редактором учебника, необходимо было строго соблюдать политкорректность. Во «Введении» к тексту 1938 г. сама необходимость изучать Средневековье объяснялась злободневной политической ситуацией: «Из фашистских Германии и Италии надвигается на мир новая волна средневекового варварства. Для борьбы с фашизмом, для умения разоблачать его, какой бы маской он ни прикрывался, необходимо детальное и конкретное знание истории средних веков».³¹ В написанной А. Д. Удальцовым для первого издания учебника главе «Буржуазные теории генезиса феодализма» целый раздел был отведен теме «Фашистские извращения истории Средневековья». Теперь же, в условиях существования между Советским Союзом и гитлеровской Германией «Договора о границе и дружбе», подобные пассажи выглядели абсолютно неуместными. Потому «Введение» подсократили, а историографическую главу убрали вовсе, сославшись на то, что она стала излишней после

выхода специального учебника по историографии средних веков. На этом учебнике, т. е. на книге О. Л. Вайнштейна «Историография средних веков в связи с развитием исторической мысли от начала средних веков до наших дней» (М.; Л., 1940), послужившей при переиздании «Истории средних веков» удобным предлогом для изъятия ставшей в силу внешнеполитических обстоятельств нежелательной главы, следует остановиться подробнее. «Историография» Вайнштейна вообще занимает особое место в учебной продукции не только ленинградской кафедры истории средних веков ЛГУ, но и всей довоенной советской медиэвистики.

Изданная под грифом Института истории АН СССР, книга на своем титульном листе несла информацию о том, что издание «допущено Всесоюзным Комитетом по делам высшей школы при СНК СССР в качестве учебника для исторических факультетов государственных университетов и педагогических институтов». Соответственно издана книга была большим не полагающимся научным исследованием тиражом — 20 тыс. экземпляров. Но это было как раз исследование, в своей основе оригинальное и содержательное, и оно по праву в том же 1940 г. принесло своему автору ученую степень доктора исторических наук.

Первые подходы к историографической тематике делались Осипом Львовичем еще в 20-х — начале 30-х годов, когда профессор работал в Одессе. Отдаленным прообразом будущей монографии послужил краткий «Очерк историографии феодализма», изданный в 1932 г., а дальнейшая работа протекала уже в Ленинграде, главным образом в стенах исторического факультета ЛГУ. Вначале Вайнштейн подготовил лекционный курс для аспирантов-медиэвистов ГАИМК и университета, со временем курс был включен в учебный план студентов, специализирующихся по кафедре истории средних веков. Стенограммы лекций вместе с опубликованными исследовательскими этюдами³² легли в основу капитальной монографии.

В будущем судьба учебника сложится не слишком счастливо. Поначалу встреченный похвалами рецензентов, он, как и его автор, в послевоенные годы будут обвинены в низкопоклонстве перед Западом и прочих смертных грехах. Потом книгу, которая, естественно, несла на себе печать своего времени и, что тоже неизбежно, с годами устаревала, заслонили собой свежие публикации. Среди последних, к слову сказать, были уникальная по богатству материала «Западноевропейская средневековая историография» (М.; Л., 1964) и две другие монографии самого О. Л. Вайнштейна, в сово-

купности перекрывшие собой почти все тематическое пространство книги 1940 г.³³

Тогда же, на рубеже 30—40-х годов, появление «Историографии средних веков» было настоящим событием. Оно, без преувеличения, открывало новую главу в истории отечественных историографических штудий, и не только медиевистических.

Вайнштейн, поставив перед собою цель создать синтетическую, единую и целостную картину развития европейской медиевистики на протяжении полутора тысячелетий, вполне отдавал себе отчет в сложности задачи. Даже если ввести поправку на свойственное книге, как и всей советской литературе, предубеждение против того, что делала немарксистская наука, у автора все равно были основания подчеркивать уникальность своего труда.

Хотя предшественников на историографической ниве у него было, разумеется, великое множество, прямых аналогов книге не подыскать. В пестром наследии историографов конца XIX— первой трети XX в. — как отечественных, так и зарубежных — решительно преобладали работы, написанные, как принято выражаться, «по историкам» или «по школам». Они, эти работы, больше походили на библиографические обзоры либо на сводки рецензий. Даже в таких содержательных очерках, как очерки Д. Н. Егорова или А. Н. Савина, внимание концентрировалось на ходе накопления позитивных знаний о предмете и на возникающих при этом спорах между учеными; вопрос же об эволюции исторической мысли как таковой был оставлен в стороне. Наглядным примером никого не смущавшего разрыва между историософией и историографией могут служить книги Н. И. Кареева — перечислительно-фактографичное «Падение Польши» в исторической литературе» (СПб., 1888) лежит в плоскости, которая, можно сказать, даже не пересекается с плоскостью «Основных вопросов философии истории» (М., 1883—1890), а написаны книги почти одновременно.³⁴

Все это не означает, что в науке отсутствовало представление о стадийности историографического процесса в целом и в XVIII—XIX вв. в частности. Среди ученых не наблюдалось особых разногласий касательно того, какие течения, приходя на смену друг другу, определяли облик историописания. Так, XVIII век, когда эталоном становятся сочинения Монтескье, Вольтера, Гиббона, был, само собой, отождествляем с Просвещением. Первую половину XIX в. — эпоху Вальтера Скотта и Тьерри, Мишле и Шлоссера — исследователи без колебаний отдавали романтизму, тогда как вто-

рая половина века, представленная такими именами, как Бокль или Фюстель де Куланж, записывалась за позитивизмом.

Такая периодизационная схема в достаточной мере подтверждалась материалом. Неувязки при попытках прочертить четкие хронологические рубежи между этапами или расписать историков по строго определенным школам и направлениям не в счет: они — удел любой стадияльно-типологической классификации. Модель не только отвечала общепринятым представлениям о прогрессе науки, но и хорошо согласовывалась с привычным членением литературного процесса, так что здесь историк и филолог легко понимали друг друга.

Неудивительно, что, приводя в систему свой обширный материал (достаточно сказать, что именной указатель к «Историографии средних веков» содержит более 800 позиций), О. Л. Вайнштейн воспринял традиционную модель. Но при этом он постарался уточнить, какие основные, классообразующие признаки определяли качественное своеобразие каждой из ступеней, через которые проходила в своем многовековом развитии историческая мысль. Сделать это было тем более необходимо, что в литературе по поводу существа стадияльных отличий царил неопределенность. Впрочем, она не исчезла и в наши дни. К примеру, один из действующих университетских учебников считает нужным сообщить студентам, что романтизм характеризуется прежде всего повышенным интересом к далекому прошлому, что для позитивистского направления «характерно не только широкое использование источников, но и критический подход к ним» и т. п.

Естественно, что О. Л. Вайнштейн постарался наполнить давнюю историографическую модель новым, марксистским содержанием. В основу периодизации истории средневековья он счел необходимым положить формационный принцип, при котором акцент ставится на том, интересы *какого* класса выражало то или иное научное направление. Собственно, такой подход давно уже стал общепризнанным в советской науке. Он пронизывал, например, большой лекционный курс «Борьба классов и русская историческая литература», прочитанный М. Н. Покровским в Коммунистическом университете им. Г. Е. Зинovieва весной 1923 г. и потом неоднократно переиздававшийся.

Ко времени, когда писалась книга Вайнштейна, школу Покровского уже разгромили, она превратилась в «так называемую школу», но подход, восходящий к трудам всех четверых признаваемых

в ту пору классиков марксизма-ленинизма, продолжал господствовать. Однако О. Л. Вайнштейну была ясна практическая невозможность провести сквозь всю книгу членение материала по формационному признаку. Во «Введении» к учебнику ничто не мешало ему, конструируя принципиальную схему периодизации, обособить раздел «Вырождение феодальной историографии (XVI–XVIII вв.)» и параллельно с этим под рубрикой «Буржуазная историография» последовательно выделить историографию гуманистическую (XV–XVI вв.), эрудитскую (XVII в.) и «историографию эпохи Просвещения и Французской революции XVIII в.». Но как рассечь единый — при всей внутренней сложности его структуры — поток историописания XVI–XVIII вв. на две поделенные по классовому признаку (и разносимые по разным главам) струи? Исследовательский прагматизм взял верх над теорией, и автор сохранил линейность изложения, ограничившись надлежащим комментарием при характеристике объектов: концепция графа Буленвилье — «феодально-аристократическая», его оппонент аббат Дюбо — «идеолог буржуазии»³⁵ и т. д.

Зато формационный принцип был сполна реализован в последних четырех главах книги, где буржуазной историографии второй половины XIX–XX вв. (главы VII–IX) была противопоставлена марксистско-ленинская историография (глава X). На сей раз технических сложностей при разграничении не возникло. Марксистская медиевистика первой половины XX в., и XIX в. тем паче, была представлена довольно ограниченным кругом авторов и произведений. К тому же марксизму, с его установкой на непримиримую борьбу со всеми иными идеологическими системами, всегда была свойственна, как известно, тенденция к отмежеванию от инакомыслящих и даже к самоизоляции.

Возможно, правильнее было бы сказать, что эта тенденция к размежеванию не столько даже облегчила обособление в историографической модели двух частей — буржуазной и марксистско-ленинской, сколько инициировала его, придав тем самым истории историописания той эпохи, которую открыли труды Маркса и Бокля, специфическую окраску. Одновременное существование двух, если так выразиться, медиевистик не было интерпретируемо ни как равноправное партнерство, ни как борьба соперников равной весовой категории. Поскольку опирающиеся на теорию исторического материализма труды априорно были признаны высшим достижением исторической мысли, схема отводила позитивистской и, беря шире,

всей немарксистской медиевистике, в лучшем случае, роль науки второго сорта.

Такое осмысление историографического процесса XVIII–XX вв. и соответствующую требованиям марксистско-ленинской методологии модификацию прежней модели едва ли нужно напрямую приписывать О. Л. Вайнштейну лично. Он здесь опирался на коллективный опыт политологов и историков 1920–1930-х годов и разделял господствующие в их среде представления. Показательно, что из тех же посылок, что и он, исходили Е. А. Косминский и Н. Л. Рубинштейн — московские историки, которые параллельно со своим ленинградским собратом взялись за историографический синтез.

Е. А. Косминский (выступавший одним из оппонентов при защите Вайнштейном докторской диссертации), начиная с 1938 г., вел систематический курс историографии средних веков в Московском университете, а также опубликовал ряд статей. Н. Л. Рубинштейн на базе лекций, читаемых с середины 30-х годов в Московском институте философии, литературы и истории, вскоре выпустил фундаментальный учебник «Русская историография» (М., 1941), где подчеркнуто ориентировался на общеевропейские процессы, включив в свою книгу обзоры состояния исторических штудий в Западной Европе XVIII–XIX вв.

При большом сходстве авторских замыслов и совпадении исходных позиций книга О. Л. Вайнштейна все же выделялась широтой кругозора, тщательностью разработки типологии. Со свойственным ему высоким профессионализмом автор смог достаточно стандартную модель сделать весьма эффективной. Сказались и побочные обстоятельства. Лекционный курс Косминского опубликуют лишь посмертно, в 1963 г., и доведен он только до середины XIX в. (при этом первая половина XIX в. представлена исключительно разделами о Германии и Франции).³⁶ Что касается «Русской историографии» Рубинштейна, то в ней, как и предполагает заглавие, упор был сделан на отечественной русистике и ее виднейших представителей.

Поэтому, говоря о предвоенных трудах, которые призваны были в той или иной мере удовлетворить назревшую потребность в систематизированной информации о прошлом исторической науки, есть все основания принять за эталон именно учебник Вайнштейна. «Историография средних веков в связи с развитием исторической мысли от начала средних веков до наших дней» действительно являла

собой, как было отмечено оппонентами при защите и затем рецензентами книги, оригинальное и содержательное исследование, появление которого открывало новую главу в истории отечественных историографических студий. Обширная эрудиция у него сочеталась с концептуальным подходом к предмету. Построение стадияльно-типологической модели движения медиевистики было для своего времени значительным научным достижением. Чтобы взяться за такое трудное дело, требовались не только знания, но и смелость. Не приходится забывать и о том, что этот опыт научного синтеза дал импульс ряду последующих исследований. Несмотря на свои недостатки (а в определенной степени как раз благодаря им), «Историография», заняв видное, почетное место в нашей предвоенной историографической продукции, прочно вошла в научный и учебный оборот.

Книга, автор которой, придерживаясь марксистского формационного принципа, выяснял (иногда с большим, иногда с меньшим успехом), интересы какого класса выражало то или иное направление в медиевистике, была, естественно, в известном смысле производной от социально-политических и методологических стандартов эпохи. Примечательно, что современники находили достоинства «Историографии» там, где современный, на рубеже XX–XXI вв., читатель увидит скорее слабости.

По меньшей мере, спорными оказываются многие из упреков автора в адрес «буржуазной историографии эпохи империализма». Крайне поверхностной и декларативной была заключающая книгу глава о марксистско-ленинской медиевистике. Ее идейным стержнем служила стандартная для тех десятилетий формула: «Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин не только создали теоретические основы единственного подлинно научного направления в историографии, но и значительно продвинули вперед изучение конкретной истории средних веков, как, впрочем, и других разделов всемирной истории».³⁷ Правильнее было бы сказать, что вопреки заглавию («до наших дней») медиевистика XX в. так и не стала предметом авторского анализа. Но едва ли О.Л. Вайнштейн заслуживает за это упрека: мало того, что он находился под строгим контролем Главлита, на него действовала общая политическая атмосфера конца 1930-х годов. Даже современная нам наука, как известно, тоже с трудом ориентируется в запутанных выражах новейшей исторической мысли, постоянно подменяя историографию политологией или отвлеченными рассуждениями.

Раздел о советской медиевистике по своему уровню сильно уступал основным главам книги. Но с точки зрения рассматриваемого нами сюжета он по-своему исключительно интересен, ибо дает представление о том, как виделись хорошо информированному (и далеко не беспристрастному) историографу-современнику место и вес кафедры истории средних веков ЛГУ в системе советского высшего образования, как тот оценивал вклад ее сотрудников и питомцев в развитие нашей исторической науки. В сочетании с позднейшими, конца 1960-х годов, суждениями того же О. Л. Вайнштейна (в его «Истории советской медиевистики») и другими материалами это, думается, способно дать достаточно выразительную картину.

Прежде всего примечательно, кого из ленинградских ученых историограф оставил вне поля зрения. О том, что проигнорирован был Н. Н. Розенталь, говорилось выше. Из видных медиевистов послереволюционного поколения не удостоилась упоминаний, к примеру, давно высланная из Ленинграда Анна Ильинична Хоментовская. Нет и Владимира Сергеевича Люблинского. Их отсутствие можно, с некоторой натяжкой, объяснить тем, что они не были сотрудниками кафедры. Однако пропущен и Владимир Николаевич Бенешевич (1874–1938), крупнейший российский византист, в котором Ф. И. Успенский видел своего преемника. Даже по чисто формальному признаку (член-корреспондент АН СССР, член ряда зарубежных академий!) он, казалось бы, не мог быть обойден молчанием.

Но все дело в том, что старика В. Н. Бенешевича в 1937 г., в разгар сталинского террора, репрессировали, и его фамилию, по правилам Главлита, упоминать не полагалось, будь даже у Вайнштейна такое намерение. Однако и в 1968 г., когда Бенешевича посмертно реабилитировали, Осип Львович по поводу событий 1937 г. ограничится лишь кратким, спущенным в примечание упоминанием о том, что «на беду Бенешевича» его книга «Меланхтониана: К литературной истории Византийской империи» сильно задержалась и «была издана Баварской академией наук уже после фашистского переворота».³⁸ О связанной с именем этого выдающегося ученого постыдной странице в истории предвоенной кафедры он не пожелал рассказывать. При этом даже сглаженная официальная версия происшедшего была изложена им неточно. Очевидно, Осип Львович писал по памяти и потому назвал «Меланхтониану» последней публикацией Бенешевича и счел именно ее поводом к осуждению ученого. Между тем выход в Мюнхене названной у Вайнштейна

книги, которая действительно была переслана Бенешевичем еще до прихода к власти Гитлера, а напечатана лишь в 1934 г., тогда никого у нас не взволновал. Три же года спустя, когда Баварская академия наук выпустила «Синагогу Иоанна Схоластика в 50 титулах» в качестве первого тома подготовляемой Бенешевичем четырехтомной публикации, в Советском Союзе все уже воспринималось по-другому, и власти постарались придать этому случаю соответствующее политическое звучание.

Под строгим начальственным оком, в присутствии декана факультета, его заместителя и секретаря парткома, 10 октября 1937 г. было проведено заседание кафедры истории средних веков, в повестке дня которого стояло «обсуждение дела проф. В. Н. Бенешевича».³⁹ Судя по всему, обсуждение заранее было надлежащим образом подготовлено. Роли главных обвинителей достались О. Л. Вайнштейну, заведующему кафедрой, и М. В. Левченко, тоже, как и Бенешевич, византисту, а главное, члену ВКП(б). Понятно, что в 60-х годах Осипу Львовичу не захотелось вспоминать ни о своем выступлении, где поступок старого ученого квалифицировался как «политически вреднейший, возмутительнейший и заслуживающий категорического осуждения», ни о выступлениях коллег. Дальше всех пошла возглавлявшая тогда истфак И. Г. Гуткина, которая, усмотрев в предисловии Бенешевича к мюнхенской публикации 1937 г. «замаскированную антисоветскую вылазку», рассуждала на кафедральном заседании о том, что Баварская академия наук могла делать ставку на Бенешевича «как на человека, полезного для шпионажа, как на человека, готового оказать ответную услугу фашистской Германии». Не угадать, чего было больше в произносимых на этом судилище речах, проникнутых патриотическим пафосом, — искреннего возмущения поведением Бенешевича или страха самому быть обвиненным в антисоветских настроениях. У одного только И. М. Гревса хватило духу сказать, что «ряд обвинений, высказывавшихся здесь против Владимира Николаевича, необоснован».

Принято было постановление, первым пунктом которого стояло: «Кафедра истории средних веков самым решительным образом осуждает действия своего члена — проф. В. Н. Бенешевича, выразившиеся в напечатании в 1937 г. в фашистской Германии своей работы (публикации церковно-юридического византийского сборника VI в.), как акт, политически вредный и объективно враждебный интересам советского народа и советской науки». После пунктов

о необходимости «все материалы данного заседания [...] сделать достоянием советской научной общественности» и т. п. следовал так называемый оргвывод: «Поставить перед Дирекцией ЛГУ вопрос о совместимости преподавания в советском вузе с тем поступком, который совершен В. Н. Бенешевичем». Дирекция отреагировала оперативно и уволила старого ученого.

Далее в игру вступил Президиум АН СССР, постановивший вынести на общее собрание вопрос о пребывании В. Н. Бенешевича в рядах Академии. Точку в этом деле поставили его арест 23 ноября того же 1937 г. и последовавший два месяца спустя, 27 января 1938 г., расстрел. Расстреляли и двух его сыновей и брата.

Позиция, занятая Иваном Михайловичем Гревсом на печально памятном заседании кафедры в октябре 1937 г., лишний раз показала, что он меньше всех других сотрудников был восприимчив к официальной пропаганде и мог выражать мнения, не совпадавшие с начальственными указаниями. Понятно, что факультетское руководство относилось к нему настороженно, о чем свидетельствует лаконичная, но по-своему выразительная «Характеристика», выданная ученому 2 декабря 1937 г.:

«Гревс И. М. — беспартийный.

1860 г. рождения, русский, из дворян помещиков. До 1917 г. был членом партии кадетов. Окончил Петербургский университет в 1883 г., профессор с 1892 г. на Высших женских курсах и с 1903 г. в Петербургском университете. Имеет многочисленные печатные работы по истории средних веков, главным образом, раннего Средневековья. Совершенно не знаком с марксизмом, по своим историческим взглядам — идеалист.

Владеет огромным фактическим материалом.

В университете работает с 1 сентября 1934 г., ведет занятия с аспирантами и спецсеминар со студентами.

В общественной жизни участия не принимает».⁴⁰

Отчуждение было взаимным. К порядкам в советском университете И. М. Гревс адаптировался с трудом. «Какая-то ненастоящая наука устанавливается, чуждая истинно исследовательского духа, понимания, определенного стремления к добыванию подробной истины. Это стесняет, сдавливает, лишает свободной перспективы», — делился он своими чувствами с Н. П. Анциферовым в сентябре 1936 г., попутно рассказывая о низком уровне поступающих в аспирантуру («Я на днях экзаменовал группу кандидатов в аспи-

рантуру: они поражают своим невежеством и полным непониманием того, что значит научное отношение к предмету. Ответы хуже средних гимназистов прежнего времени в смысле знания фактов. Просто никаких знаний».⁴¹ Летом 1937 г., за три недели до начала занятий, он сообщал О. А. Добиаш-Рождественской: «Что происходит в нашей alma mater (хотя она теперь, пожалуй, и не mater, и не alma, а какое-то чужое место), точно не знаю, но, кажется, все в хаосе».⁴²

В своей «Историографии» Вайнштейн по отношению к «старейшему из ныне здравствующих медиевистов в СССР»⁴³ высказывался уважительно, поместив, однако, оценку научных трудов Гревса в главу о русской дореволюционной историографии. В разделе «Марксистско-ленинская историография в СССР» ему места не нашлось. В книге 1968 г. будет дополнительно отмечено, что «в 30-х годах Гревс вернулся к своей старой теме — истории земельной собственности в Римской империи» — и подготовил к печати 2-й том «Очерков из истории римского землевладения», из которого будет опубликован только небольшой раздел в университетских «Ученых записках».⁴⁴ Точнее говоря, предполагалась публикация всего исследования целиком. Первый том «Очерков», печатавшийся в свое время в «Журнале Министерства народного просвещения» и вышедший отдельной книгой в 1899 г., был, по словам автора, переработан и «в совсем обновленном виде» представлен в Институт истории еще в 1938 г., однако проволочку с печатанием объяснили неимением бумаги. Работа над вторым томом, который должен был состоять «из совсем новых этюдов»,⁴⁵ продолжалась, но из-за болезни и состояния домашних дел весной 1941 г. старый ученый обратился в Институт истории с просьбой продлить срок представления рукописи до лета следующего года.⁴⁶

От работы над книгой отвлекали и другие труды. После возвращения в университет И. М. Гревс продолжал сотрудничать с издательством «Academia», где в 1934–1936 гг. в его переводе, с его комментариями и вступительной статьей вышел двухтомник мемуаров герцога Сен-Симона. В 1939 г., уже после слияния этого издательства с Гослитиздатом, выйдет первая часть «Божественной комедии» Данте в переводе М. Л. Лозинского, где комментарии принадлежали Гревсу. Правда, издатели их сократили и исказили до такой степени, что, как сокрушался И. М. Гревс в одном из писем, «я с горем смотрю на то, во что обратился мой текст».⁴⁷ До конца своих дней он работал над книгой о Таците (она выйдет по-

смертно, в 1946 г., и будет сопровождена прочувственной статьей Е. Ч. Скржинской об авторе).

К О. А. Добиаш-Рожественской Осип Львович был более снисходителен и поместил информацию о ее послереволюционных трудах в разделе о марксистско-ленинской историографии в Советском Союзе, особо отметив ее «ценные штудии [...] над памятниками средневековой письменности, хранящимися в Ленинградской публичной библиотеке».⁴⁸ В то же время, по утверждению Вайнштейна, «методологические установки автора делают его выводы и оценки совершенно неприемлемыми для марксиста».⁴⁹ Цитата адресована давним исследованиям Добиаш-Рожественской о церковном обществе во Франции XIII в. и культе св. Михаила. Об ее более новых работах на историческую тематику Вайнштейн в 1940 г. предпочел не распространяться. Годы спустя, в «Истории советской медиевистики», он скажет, что они «все же не дают верной картины рассматриваемых явлений», поставив в вину автору идеализм и неоромантизм.⁵⁰ А неоромантизм, по его же словам (правда, произнесенным в другое время и по другому поводу, не связанному с Добиаш-Рожественской), отличался не меньше реакционностью, чем старый романтизм.⁵¹

Вообще положение Ольги Антоновны в советской исторической науке было достаточно двусмысленным. В торжественных случаях ее имя сопровождали всякие лестные эпитеты: она — «первая в России женщина-магистр, а затем и доктор всеобщей истории» и т. п. Руководству импонировало то, что она в отличие от своего старого друга Дмитрия Моисеевича Петрушевского была далека от дискуссий о неокантианстве и иных абстрактных материях. К тому же чувствовалось, что Ольга Антоновна вполне лояльно относилась к новым порядкам и даже старалась себя убедить (трудно сказать, с каким успехом) в разумности происходивших в стране политических перемен.

Вместе с тем возникала странная ситуация — впрочем, в ту пору нередкая, почти стандартная — за почтенным ученым (а в данном случае еще и за членом-корреспондентом АН СССР) признавали и эрудицию, и исследовательский талант, но напрочь отвергали результаты его исторических изысканий. Именно отвергали, а не опровергали. У марксистов-ортодоксов, даже у таких эрудированных, как Осип Львович Вайнштейн, не доставало знания источников, не хватало аргументов по существу дела, и в своей критике взглядов Добиаш-Рожественской они больше исходили из априор-

ных посылок (если не просто из возведенных в абсолют высказываний классиков марксизма-ленинизма). Показательно, что, работая в послевоенные годы над своим фундаментальным исследованием «Западноевропейская средневековая историография» (М.; Л., 1964) и останавливаясь на тех крестоносных хрониках, какие в свое время изучала и характеризовала в своих трудах Добиаш-Рождественская, Вайнштейн так и не вступит в прямую полемику с ней.

С оживлением общественного интереса к гражданской истории заметно расширились возможности печататься. Из увидевших свет в 30-е годы трудов О. А. Добиаш-Рождественской надо прежде всего назвать «Историю письма в средние века: Руководство к изучению латинской палеографии» (М.; Л., 1936); по сравнению с изданием 1923 г. книга была существенно переработана и дополнена. Большая статья «Из каких источников мы узнаем о западной земледельческой технике эпохи феодальной формации?», помещенная в «Архиве истории науки и техники» (вып. 3, 1934), послужила своего рода введением к изданной вскоре под редакцией О. А. Добиаш-Рождественской и М. И. Бурского (заведующего секцией истории агрикультуры в Институте истории науки и техники) публикации «Агрикультура в памятниках западного Средневековья» (М.; Л., 1936). Сама Ольга Антоновна подготовила для этого сборника раздел «Агро- и зоотехнические фрагменты у Исидора Севильского, в варварских правдах и у Григория Турского». Под ее редакцией и с ее предисловием были изданы «Акты Кремоны X–XIII вв. в собрании АН СССР» (Л., 1937).

Не перечисляя другие из прочно вошедших в отечественную науку исследования О. А. Добиаш-Рождественской,⁵² остановим внимание на так и не реализованном ею проекте — попытке написать очерк истории Крестовых походов. Случай снова вплотную заняться всегда интересовавшей ее крестоносной эпопеей представился летом 1934 г., когда Государственной академии истории материальной культуры было предписано в духе майского постановления Совнаркома и ЦК партии «О преподавании гражданской истории в школах СССР» спешно развернуть работу над университетским учебником по истории средних веков. Администрация, сколачивая, как тогда выражались, авторский коллектив, с просьбой написать «отдел о Крестовых походах» обратилась к О. А. Добиаш-Рождественской. Та была перегружена другими делами, тем не менее охотно дала согласие. Ее радовало, что редактором готовящегося университетского учебника будет Эрвин Давидович Гримм (1870–1940),

известный историк, который в ГАИМК заведовал кафедрой истории западноевропейского феодализма. С ним О. А. Добиаш-Рожественская познакомилась давно: он, в частности, был в 1911–1918 гг. ректором Петербургского (Петроградского) университета. Впрочем, опыт уже научил ее не слишком предаваться эйфории. «Не все, конечно, и тут безоблачно», — писала она в конце июня И. М. Гревсу о ходе дел, хотя и успокаивала своего старого учителя (и, должно быть, саму себя) рассуждением: «Все же, думается, то, что [...] подымает, сильнее, живее того, что депримирует».⁵³

К сомнениям, которые заставляли рассуждать в таком ключе, в скором времени добавился конфликт, как раз связанный с крестовосной проблематикой. Не все этапы затянувшегося на полгода и в конце концов безрезультатного препирательства с одинаковой полнотой освещены в доступных нам материалах. Но как бы то ни было, документы из Архива Института истории материальной культуры — письма О. А. Добиаш-Рожественской, копии писем Э. Д. Гримма к ней, некоторые другие касающиеся этого дела официальные бумаги — дают неплохую возможность судить о подходе исследовательницы к проблеме Крестовых походов и вообще к научной работе, о ее понимании марксизма. В то же время бумаги эти, думается, кое в чем существенно дополняют представление о нашей медиевистике и нашем обществе середины 1930-х годов.⁵⁴

В июне 1934 г., прежде чем уехать за город, на дачу, Добиаш-Рожественская успела составить проспект («программу») будущей главы и бегло обсудить его с Гриммом и секретарем кафедры М. А. Тихановой. Пока же у нее на очереди стояли другие дела. «Занятая всецело агрикультурой и палеографией», она сообщала Гревсу с дачи: «... взяла сюда пишущую машинку и выстукиваю агрикультуру по утрам и палеографию вечером».⁵⁵ Неожиданностью явилась присылка 2 июля из ГАИМК официальной программы отдела «Крестовые походы» взамен той, что была представлена ею. Прочтя бумажку, отодвинула в сторону все прочие занятия и немедленно села за ответ.

Так началась продолжившаяся и после возвращения в Ленинград долгая переписка. Самих проспектов, вызвавших конфликт, в делах ГАИМК нет, но спор вокруг них по-своему красноречив. Может показаться странным, зачем было прибегать к услугам почты, когда проще воспользоваться телефоном или собраться вместе и все обговорить. «Всякий письменный обмен мнений, разумеется, не в состоянии заменить непосредственную возможность дополнить

отдельные положения или слова, во избежание недоразумений, тут же нужными оговорками и разъяснениями», — вполне резонно будет напоминать О. А. Добиаш-Рожественской Э. Д. Гримм. Но у нее были свои резоны. Похоже, она предпочитала по возможности реже встречаться с академическим начальством, которое, как ей хорошо было известно, привыкло по-своему перетолковывать любую устную договоренность.

Свое отношение к предложенной ей администрацией программе Добиаш-Рожественская определила безоговорочно: «Она целиком, однако, противоречит моему представлению истории Крестовых походов. Выполнить концепцию, чуждую мне в такой мере [...] я не могу и не хочу». Реакция Э. Д. Гримма была не менее оперативной. В своем большом письме он перенес центр тяжести на объяснения по поводу легко устранимых расхождений. Едва ли он не понимал, что не отсутствие в проспекте упоминаний о военно-монашеских орденах побудило его корреспондентку отказываться от желанной для нее работы. Просто так было легче вести разговор, убеждая ее изменить свое решение. В том, что касалось принципиальных разногласий, дело свелось к настойчивому повторению, что он руководствуется «той конкретной постановкой вопроса, которая неумолимо вытекает из марксистской концепции исторического процесса», что предлагаемая им программа является «стройным выражением определенной исторической концепции», а «эта концепция и есть марксистская концепция, и я не вижу, в чем она могла бы расходиться с конкретно-научными установками».

О. А. Добиаш-Рожественская, посоветовавшись с И. М. Гревсом, который тоже участвовал в работе над этим учебником — писал разделы о средневековой Италии, попробовала разработать компромиссный проспект. Трижды передельвала текст, но ни один из вариантов ее не удовлетворил. Все же она согласилась продолжить работу, определив свою позицию следующим образом: «Если я могу строить отведенные мне в учебнике главы, в их конкретно-научной стороне, так, как я ее понимаю, то в сентябре и октябре я напишу их, причем ставлю для себя обязательным не вступать в противоречие с марксистскими основами учебника».

На пару месяцев переписка прервалась. Это не означало, что стороны примирились и что вообще у ГАИМК дела с учебником пошли гладко. Авторский коллектив так и не удалось полностью укомплектовать. Лишь в конце октября была предпринята попытка привлечь Н. С. Цемпша к написанию раздела о Каролингской

эпохе. Главы, представляемые авторами, вызывали много нареканий. 31 октября Э. Д. Гримм докладывал руководству, что раздел А. Г. Вульфуса⁵⁶ по истории гуманизма и первая часть главы И. М. Гревса по истории Италии XI–XV вв. возвращены авторам на доработку — в них обнаружен «ряд существенных недостатков [...] с точки зрения марксистской концепции исторического процесса». Вульфус уже успел свой текст переделать, но при этом «ограничился мелкими поправками [...], не меняющими чисто психологического подхода его изложения к проблемам происхождения и характерных черт гуманизма [...], и не выяснил ни классовой сущности движения в целом, ни взаимоотношений между разными течениями гуманизма и социальным составом буржуазии в целом».

Пока бумага ходила по инстанциям, Гревс, сославшись на состояние здоровья, вовсе отказался участвовать в предприятии. Мотивы своего отказа он изложил в письме 14 ноября 1934 г., адресованном Н. П. Анциферову: «... главной последней тревогой для меня была возня с подготовкой порученной мне части учебника средних веков. Я давно уже чувствую, что не могу спеться с остальными членами “бригады”, и в самом деле, когда я ознакомил их с первой частью своего обзора истории средневековой Италии, то встретил столько разногласий, что для меня стала очевидной невозможность для моего исторического сознания продолжать участвовать в работе. Хотя они утверждали, что просили от меня очень маленьких изменений и дополнений, но я больше не в силах ломать и коверкать себя на приспособление к тому, что для меня неприемлемо. [...] На этом я стою. Чувствую себя освобожденным».⁵⁷

Администрация, решив оживить работу над учебником, отправила авторам соответствующие напоминания и назначила на 21 ноября заседание авторского коллектива. Добиаш-Рождественская быть на заседании не смогла (или не захотела). В своем письме к Э. Д. Гримму она сочла нужным еще раз четко изложить свою «формулу»: «Я имею в виду сделать все, что не может вступить в противоречие с основными положениями марксистского учения, которые я разделяю. Я говорю об основных, не ища совпадения с теми или иными случайными высказываниями марксистов, часто, очевидно, неверными, не оправдываемыми исторической конкретностью. Однако же, так как у меня будут оттенки, отличающие меня от комплекса мыслей коллегии, ведущей учебник, то я нахожу более осторожным представить в первую очередь лишь часть работы, чтобы и для меня, и для коллегии было ясно, насколько

оно входит в общую гармонию учебника». В конце письма «ввиду не вполне благоприятного опыта участия ученых старшего круга в учебной книге» вновь ставился вопрос, не лучше ли «уже теперь предоставить эту главу другому автору».

Э. Д. Гримм в ответном письме признал наличие кардинальных расхождений в их взглядах на предмет. «Я не могу не указать, — заявил он, — что подчеркнутое вами выражение “основные положения марксизма”, а далее упоминание об “оттенках”, отличающих Вас от “комплекса мыслей коллегии, ведущей учебник”, при чрезвычайной своей неопределенности, открывает широкую возможность полного расхождения между Вашим личным пониманием как этих “основных положений”, так и объективной значимости допускаемых Вами “оттенков” и той постановкой вопроса, которая лежит и должна лежать в основе работы по учебнику, проблемы, которые возникают при историческом анализе эпохи Крестовых походов». В итоге делался вывод о бесперспективности всяких дальнейших попыток как-то примирить отстаиваемую Добиаш-Рождественской трактовку Крестовых походов с той, которая, по убеждению редакции, «вытекает из существа марксистского учения».

5 декабря Ольга Антоновна обратилась в Президиум ГАИМК с заявлением, которое подводило черту под затянувшимся делом. «Я вынуждена окончательно признать, что мне не удастся принять участие в этой работе, о чем искренне сожалею, так как работа меня интересовала», — писала она. Одновременно было отправлено письмо Гримму. «Мы с Вами, — несколько неладно по форме, но совершенно четко по смыслу, — утверждала О. А. Добиаш-Рождественская, — расходимся в конкретно-исторической концепции явления Крестовых походов. Это — главное и, по-видимому, непримиримое». «Коллективное писание учебной книги, — продолжала она, — было, очевидно, вызвано стремлением заменить марксизм трафаретный живым пониманием исторических явлений в духе марксизма. Для этого приглашались специалисты, которые с хорошим историзмом смогли бы сочетать живое чувство и понимание марксизма. Только соединение этих двух элементов привлекало меня, притягивая к вступлению в комбинацию, ныне завершившуюся для меня неудачно. [...] Но я отнюдь не отказывалась от борьбы за свою точку зрения, в которой видела живой марксизм и проведение которой полагала настоящим смыслом моего участия в учебной книге».

Э. Д. Гримм постарался, чтобы последнее слово осталось за ним. 15 декабря 1934 г. он написал Ольге Антоновне: «Решение Ваше

отказаться от работы по учебнику при данном положении дела не могу не признать логическим выводом из нашей довольно продолжительной переписки по этому вопросу — выводом, о котором могу пожалеть, но изменить который я не могу. Что касается вопроса о “живом” и “трафаретном” марксизме, то разрешите мне воздержаться от переписки на этот счет, так как я не рассчитываю на возможность достигнуть таким путем выяснения хотя бы тех пунктов Вашей первоначальной программы, по существу сохранившей, очевидно, для Вас руководящее значение, которое представляется мне чуждым именно “живому марксизму”».

На судьбу подготовляемого в Ленинграде университетского учебника по истории средних веков все это долгое препирательство, которое, можно полагать, стоило его участникам немало сил и нервов, в конечном счете не сильно повлияло. Учебник так и не вышел. Удачливее оказался авторский коллектив в составе А. Д. Удальцова, Е. А. Косминского и О. Л. Вайнштейна, который под грифом московского Института истории АН СССР в 1938 г. выпустил первый том такого учебника. Написание двух глав о Крестовых походах там взял на себя Косминский.

Невольно напрашивается сопоставление, точнее, противопоставление, поскольку между двумя историками и между их подходами к крестоносной теме не так уж много общего. Будущий академик, как известно, был талантливым, знающим ученым (и с точки зрения идеологических боссов не вполне правоверным марксистом). Однако, по свидетельству А. Я. Гуревича,⁵⁸ обстоятельства заставляли Косминского кривить душой, порой делали циничным. Что касается О. А. Добиаш-Рожественской, то способностями к мимикрии и цинизму Бог ее обделил. Судя по воспоминаниям современников и по ее текстам, скорее можно говорить о сохранившейся до конца дней известной наивности в житейских делах (в том числе в общении с официальными кругами и официальной идеологией). Не беремся сравнивать их вклад в науку или соизмерять масштабы этих двух ярких личностей. В чем и насколько различен их подход к освещению крестоносной проблемы в университетском учебнике?

Специалистом по истории Крестовых походов Е. А. Косминского назвать трудно. Тем не менее свой краткий, на два десятка страниц, очерк он составил вполне профессионально и при этом умело учел, так сказать, социальный заказ. По тогдашнему обыкновению, искомая «марксистская концепция», столь заботившая, как мы видели, администрацию ГАИМК, проявляла себя здесь главным образом

в антиклерикальных выпадах. Желание привлечь все подходящие к случаю высказывания основоположников марксизма-ленинизма натолкнулось на отсутствие у тех сколько-нибудь заметного интереса к Крестовым походам. Пришлось довольствоваться отрывком из письма Ф. Энгельса К. Шмидту. Воспроизведенный там достаточно тривиальный сам по себе, давно утвердившийся в науке тезис, согласно которому феодальный порядок нашел свое классическое выражение в Иерусалимских Ассизах, под пером Косминского приобретал особый вес («Энгельс считал, что...»⁵⁹). Все-таки одного-единственного классического высказывания показалось мало. Нехватку цитат преодолели за счет так называемых «Хронологических выписок» К. Маркса, которые к концептуальной стороне проблемы имели, мягко говоря, отношение косвенное. Не имея возможности дать прямую отсылку к этим, тогда еще не изданным, конспектам, Е. А. Косминский, тем не менее, к примеру, информацию о проповеднике Петре Амьенском сопровождал пояснением: «“глупый, как осел, пустынный”, по словам Маркса».⁶⁰

Похоже, Е. А. Косминский пошел именно по тому пути, какой упрямо отвергала О. А. Добиаш-Рожественская в своем споре с дирекцией ГАИМК. Ее письма на данную тему, равно как и другие высказывания по поводу марксизма, однозначно свидетельствуют об испытываемом ею интересе и уважении к учению Маркса. Должно быть, прав Б. С. Каганович, когда пишет: «В 30-е годы О. А. Добиаш-Рожественская [...] испытала в своем научном мировоззрении определенное влияние марксизма».⁶¹ Очевидно, так оно и было. Только понимание того самого марксистского учения, которое, по ее собственным словам, она разделяла, никак не гармонизировало с кристаллизировавшейся к тому времени в Советском Союзе его разновидностью, гордо именуемой марксизмом-ленинизмом. Ольга Антоновна никак не могла привыкнуть к тому, что ученый обязан выводы своих исследований приводить в соответствии с партийными установками.

Учитывая присущее ей восприятие исторической науки, совсем не удивительно, что в ее научных штудиях центр тяжести со временем все больше сдвигался в сторону источниковедения — того предмета, который она всегда любила и который все же в меньшей степени зависел от идеологической и политической конъюнктуры. Об ее интересе к источниковедческой проблематике, в частности, свидетельствуют хранящиеся в ее личном фонде ОР РНБ конспекты лекций по источниковедению. В середине 30-х годов Добиаш-

Рождественская подготовила большой очерк, посвященный источникам западноевропейского Средневековья. Преемственность между очерком О. А. Добиаш-Рождественской, которым в послевоенные годы будет пользоваться А. Д. Люблинская при подготовке своего учебника по источниковедению, и самим этим «Источниковедением истории средних веков» (Л., 1955) бесспорна. Но бросаются в глаза также и существенные различия.

Созданному в 1930-х годах очерку еще не хватало внутренней цельности, изложение оставалось фрагментарным, эмоции порой заслоняли собой анализ. Практически отсутствовала даже единая классификация источников, — скажем, нарративные памятники (с древнейших времен по XIII в.) представлены у Добиаш-Рождественской следующими категориями: древнейшие тексты, хроники, каролингские анналы, истории периферии, послекаролингская историография, крестоносные хроники, «песни о подвигах», памфлеты периода борьбы империи и папства, нарративные тексты эпохи централизации, городские хроники. В этот пестрый перечень попали самые разнокалиберные объекты, и он, как видно, на полноту не притязал. Из очерка, к слову сказать, видно, что Ольга Антоновна по-прежнему была склонна поэтизировать «приподнятое и возбужденное настроение участников “необычайного подвига”, пережитые ими изумительные впечатления, освобождение от привычных условий жизни и привычных связей». Восхищаясь крестоносными хрониками и связывая с ними рождение «нового типа историка, гораздо более живого и, главное, независимого», исследовательница в то же время тщательно разрабатывала и уточняла генеалогию этих хроник, сопоставляла их с другими видами источников.

При объяснении причин фрагментарности и бессистемности изложения в очерке О. А. Добиаш-Рождественской 30-х годов недостаточно ссылок на личные моменты или на ограниченность листаж. Складывается впечатление, что отечественная медиевистика тех лет вообще еще не созрела до источниковедческого синтеза. Не была преодолена растерянность перед лицом происшедших в стране и мире перемен. Сохранялся широкий зазор между теоретическими построениями в духе марксизма (точнее, того вульгаризированного его варианта, который насаждался в Советском Союзе) и конкретными изысканиями. Ученые, по-видимому, ощущали, что даже в такой далекой от политики сфере, как систематизация средневековых источников, не годится механически повторять схемы XIX в., а новые подходы к предмету только-только начинали складываться.

Очевидно, именно эти обстоятельства вместе с отсутствием у О. А. Добиаш-Рождественской интереса к социально-экономической проблематике имела в виду А. Д. Люблинская, всегда с огромным пиететом отзывавшаяся о своей наставнице, но тем не менее утверждавшая, что исторические концепции последней «принадлежат безвозвратно ушедшему в прошлое этапу развития русской медиевистики». ⁶² Попытка Б. С. Кагановича опровергнуть это утверждение, ⁶³ пусть и продиктованная благими намерениями, все же, думается, безосновательна.

Критические замечания А. Д. Люблинской, насколько понимаем, никоим образом не касались пристального, настойчивого внимания О. А. Добиаш-Рождественской к людям Средневековья, к их восприятию мира, их чувствам и страстям — качества, которое так ярко проявилось в ее лекционных курсах и книгах. Напротив, Люблинская считала нужным подчеркнуть, что в трудах ее наставницы «немало материала для правильного понимания религиозной психологии средневекового человека и притом не изолировано, а в тесной связи с окружающей его действительностью».

Издание, для которого готовился этот источниковедческий очерк, так и не состоялось. Позднее, в 1938 г., у О. А. Добиаш-Рождественской возникла мысль выпустить его отдельной брошюрой. Смерть исследовательницы в августе 1939 г. помешала осуществлению задуманного, и очерк впервые был опубликован Б. С. Кагановичем в 1987 г. ⁶⁴

Неделю спустя после ее кончины И. М. Гревс писал Д. М. Петрушевскому: «Тяжело и горестно переживаю я смерть Ольги Антоновны. С нею связаны теснейшим образом долгие воспоминания о более чем сорокалетнем близком знакомстве, о многих годах особенной дружбы [...]. Я ведь на 15 лет был старше ее, а вот продолжаю жить, а она ушла из жизни. И из моих учеников здесь нет уже никого, кто бы знал так близко, как она, всю мою деятельность, и еще более чужим становится для меня университет». ⁶⁵ Иван Михайлович ненадолго пережил свою ученицу — он скончался в мае 1941 г.

Ближе всего к Ивану Михайловичу по своим научным интересам среди сотрудников кафедры стоял, пожалуй, Матвей Александрович Гуковский (1898–1971). Окончив петроградскую классическую гимназию, он в 1917 г. поступил в Технологический институт, а спустя два года перешел оттуда в университет, на историческое отделение факультета общественных наук. По окончании универси-

тета в 1923 г. был представлен И. М. Гревсом «к оставлению при кафедре истории средних веков», позднее работал в ряде академических учреждений. В 1934 г. Президиумом АН СССР он был удостоен ученой степени кандидата исторических наук без защиты диссертации.

О направленности его штудий и о свойственном ему подходе к делу можно судить уже по ранней (1933) статье «К вопросу о сущности так называемого “итальянского Возрождения”», помещенной в сборнике «Памяти Карла Маркса». Излагая в ней свое понимание Ренессанса, Гуковский подчеркнуто опирался на идеи основоположников марксизма, но в целом статья далеко выходила за стандартно-юбилейные рамки. Автор не соблазнился столь часто встречающимся в советской литературе простым перепевом соответствующих цитат. Текстологические наблюдения привели его, в частности, к убеждению, что Маркс и Энгельс так и не были знакомы с классическим трудом Якоба Буркгардта (1860). По обязанности повторив ставший к тому времени аксиомой тезис — только марксистский метод «может считаться единственно научным», — М. А. Гуковский практически дезавуировал эту слишком категоричную формулу, показав, что в результате сложного взаимодействия между разными научными течениями «концепция буржуазных ученых [...] может быть без особой ошпбки *mutatis mutandis* сближена с концепцией Маркса».⁶⁶

За этой работой последовали такие статьи, как «Очерки техники итальянского Возрождения» (Труды Института истории науки и техники. Сер. 1. Вып. 5. Л., 1935), «Кто был истинным руководителем восстания Чомпи» (Ученые записки ЛГПИ им. А. И. Герцена. Т. 22. Л., 1939) и др. В своей книге 1940 г. О. Л. Вайнштейн сообщал, что статьи Матвея Александровича на ренессансную тематику уже частично синтезированы автором в подготовленной к печати монографии «Механика Леонардо да Винчи».⁶⁷ Пока «Историография» печаталась, М. А. Гуковский успел еще в рукописи защитить свой труд о Леонардо да Винчи в качестве докторской диссертации (1939). Монография же, наглядно показывающая, что занятия в Технологическом институте не прошли для историка напрасно, увидела свет только после войны (1947).

Почти одновременно с О. Л. Вайнштейном и М. А. Гуковским защитил докторскую диссертацию М. В. Левченко (1890–1955).

Митрофан Васильевич, окончивший Курскую духовную семинарию (1911), а затем историческое отделение Нежинско-

го историко-филологического института имени А. А. Безбородко (1916), был по ходатайству ученого совета института прикомандирован к Петроградскому университету для подготовки к профессорскому званию. Научными руководителями начинающего ученого, которого особенно привлекала позднеримская эпоха, стали Н. И. Кареев и М. И. Ростовцев. Занятия прервала революция.

Вернувшись в родные края, в г. Суджа (Курская губерния), М. В. Левченко с головой окунулся в хлопотную работу по преобразованию и расширению школьной сети. Об этом периоде своей жизни он писал в автобиографии: «С 1918 г. по болезни вернулся на родину и был заведующим народным университетом и учебной частью Судженской учительской семинарии, с 1915 по 1929 г. работал директором Педагогического техникума в г. Судже».⁶⁸ В 1925 г. его приняли в партию. Решив продолжить прерванные занятия наукой, он в 1930 г. поступил в аспирантуру ЛИФЛИ, а после аспирантуры с 1933 г. работал старшим научным сотрудником ГАИМК. С 1939 г. в той же должности — в Ленинградском отделении Института истории АН СССР. С того же времени Митрофан Васильевич одновременно исполнял обязанности профессора кафедры истории средних веков ЛГУ (в работе которой принимал участие и раньше). С его именем связано возрождение на историческом факультете византиноведческих штудий.

Уже сами названия статей Митрофана Васильевича — «К истории аграрных отношений в Византии IV–VII вв.» (1935), «Византия и славяне» (1938) — говорят об основной направленности его научных интересов. Автор существенно дополнил выводы В. Г. Васильевского и Ф. И. Успенского, убедительно подтвердив, что византийская община существовала еще до славянской колонизации.

Докторскую степень ему принесла «История Византии: Краткий очерк» (Л., 1940). У О. Л. Вайнштейна были все основания причислить книгу к распространенному у нас в предвоенные годы жанру общих трудов научно-популярного характера, отметив, однако, что большинство из них включало в себя и элементы самостоятельной исследовательской работы.⁶⁹ «История Византии» как бы подводила итог сделанному учеными старой, ведущей свое начало от В. Г. Васильевского, школы и одновременно пыталась — не всегда успешно — интерпретировать весь этот материал с позиций исторического материализма.

Среди учеников О. А. Добиаш-Рождественской, разрабатывавших историко-культурную тематику, в «Историографии» 1940 г. выделены Е. Ч. Сржинская и А. Д. Люблинская.⁷⁰ Более тесно связанной с университетом была Александра Дмитриевна, которая, окончив факультет общественных наук Петроградского университета в 1922 г., к этому времени уже приобрела известность в кругу медиевистов как одаренный палеограф и источниковед. С середины 30-х годов она, получив наконец давно желанное место в Отделе рукописей Публичной библиотеки, стала вести занятия по латинской палеографии и дипломатике со студентами истфака ЛГУ.

Но не меньше, чем работа с манускриптами, ее влекла социальная история Франции. Под руководством В. В. Бирюковича была подготовлена и в декабре 1940 г. защищена кандидатская диссертация на тему «Гражданская смута во Франции после смерти Генриха IV: Договор в Сен-Мену и Генеральные штаты 1614 г.». Название сопровождалось горделивым подзаголовком: «По неопубликованным материалам Публичной библиотеки в Ленинграде и Парижской национальной библиотеки». Не следовало понимать дело так, что диссертанту довелось поработать в Париже (для А. Д. Люблинской такое станет возможным только спустя многие годы). В кандидатской диссертации были использованы имевшиеся в Отделе рукописей ГПБ фотокопии парижских документов. И не они составили основу исследования, которое опиралось на уникальную по богатству материалов XVII в. коллекцию П. П. Дубровского, приобретенную Публичной библиотекой у собирателя в 1805 г.

Об абсолютизме и его месте в истории феодального общества у нас в 1920–1930-х годах писалось немало. Как правило, рассуждения на данную тему носили отвлеченный характер, выливаясь зачастую в пересказ и истолкование цитат из сочинений основоположников марксизма-ленинизма. На таком фоне диссертация 1940 г. тем более выделялась своим конкретно-историческим подходом к проблеме, стремлением раскрыть истинные мотивы поведения различных групп французского общества в пору потрясений, какие переживала страна после убийства Генриха IV. В диссертации 1940 г. уже было видно то сочетание строгой источниковедческой критики источников (не говоря уж о тщательном прочтении рукописей) с углубленным анализом социальных конфликтов, столь характерное для позднейших трудов А. Д. Люблинской, которые принесли ей широкую известность у нас в стране и за рубежом.

Бесспорно, работа Люблинской (1940) была самой значительной

из защищенных перед войной на истаке диссертаций по средним векам. Принято с понятной осторожностью воспринимать похвалы диссертанту, расточаемые на защитах. Но на сей раз Е. В. Тарле нисколько не преувеличивал, говоря в своем отзыве: «Читая эту серьезную, добросовестную работу, приходишь к твердому выводу, что ее автор обладает не только бесспорным вкусом к документу и чуткостью к документу, но и умением допрашивать документ, не запутываясь в деталях и наивных и недостоверных показаниях, извлекать главное [...]. Если автор будет продолжать так, как начал, то советская наука приобретет ценного работника и именно в заброшенной ею до сих пор области истории XVII в., где у нас работали до сих пор так мало и так плохо».⁷¹

Продолжение, о котором говорил оппонент, последует, но нескоро. В годы войны, при всех тяготах эвакуации, А. Д. Люблинская будет использовать любые, пусть очень скромные, возможности для продолжения своих исторических изысканий. Они продолжатся и после того, как летом 1943 г. она вернется в Ленинград, в Публичную библиотеку, а затем, оставаясь главным библиотекарем Отдела рукописей, с сентября 1946 г. станет доцентом кафедры истории средних веков ЛГУ.

Большие надежды подавал И. В. Арский, защитивший кандидатскую диссертацию «Аграрный строй Каталонии IX–XII вв.» осенью 1937 г. В работе была масса недоделок и промахов (как выразилась, обращаясь к автору, выступавшая оппонентом О. А. Добиаш-Рождественская, «Вы взяли тему слишком обширную. Вы спешили. Вы хотели подать марксизм-ленинизм наспех»⁷²). Но там же содержались продуктивные наблюдения, хорош был анализ правовых источников. В последующие годы Арский, ставший доцентом кафедры, много работал и над этой, и над смежными темами, чему служат свидетельством вышедшая в 1941 г. монография «Очерки по истории средневековой Каталонии до соединения с Арагоном (VIII–XII вв.)» и ряд статей.

22 июня 1941 г. начался новый, во многом трагический этап в истории кафедры, как и всей страны. Вскоре ушли на фронт И. В. Арский, С. Н. Эйзенштейн и другие сотрудники, аспиранты, студенты. Медиевисты вместе с другими историками участвовали в оборонных работах, которые велись на Карельском перешейке, под Лугой, Гатчиной. Университетский штаб этих работ возглавлял М. А. Гуковский. Члены кафедры активно включились в агитационно-пропагандистскую работу, выступали с лекциями, докладами.

О. Л. Вайнштейн, М. А. Гуковский в соавторстве с Н. П. Полетикой выпустили брошюру «Железом и кровью: Судьба гитлеровской Германии в зеркале истории» (М., 1941), брошюра затем несколько раз переиздавалась.

1 сентября, как положено, на факультете начались занятия. Но очень скоро Ленинград оказался в кольце блокады... О зиме 1941/42 года достаточно подробно и достаточно реалистично, пусть и с почти неизбежными в подобных случаях умолчаниями либо ретушью, расскажет О. Л. Вайнштейн в статье «Ленинградский университет в период Отечественной войны» (юбилейный сборник «Ленинградский университет: 1819–1944». М., 1945).

Воспроизведем отрывок из этой статьи с описанием того, как на факультете проходила диссертационная защита: «... члены Совета, диссертант и его оппоненты сгрудились вокруг железной печурки, так как на расстоянии двух-трех шагов от нее температура была на несколько градусов ниже нуля. Пар клубами выходил из уст оратора, выступавшего в полушубке и валенках. Баллотировочным ящиком служила шапка одного из участников заседания. Все это, однако, не мешало прениям развернуться по всей форме и не внесло в установленную процедуру присуждения ученой степени ни малейшего изменения».⁷³

В марте 1942 г. университет был эвакуирован в Саратов. Начальником последнего, третьего эшелона назначили М. А. Гуковского, в Саратове он будет исполнять обязанности декана истфака, пока туда не прибудет В. В. Мавродин. Но к Саратову вскоре тоже близко подошел фронт. И местным старожилам, и эвакуированным ленинградцам хватало всяческих лишений и бед. Тем не менее, как вспоминали потом участники событий тех лет, университетская атмосфера была самой дружеской.

Сильно поредевшая кафедра продолжала работать. Для своих и саратовских студентов — грань между ними быстро стиралась — ленинградцы разрабатывали лекционные курсы, тематика которых, естественно, так или иначе была созвучна происходившему в стране и мире. Так, О. Л. Вайнштейн в своих спецкурсах и спецсеминарах обратился к истории крупнейшего военного конфликта раннего нового времени — потрясшей весь континент Тридцатилетней войне. Тема тем более увлекла ученого, что, как он подчеркивал в докладе, прочитанном в 1944 г., уже после возвращения ЛГУ из эвакуации, — в отечественной и зарубежной историографии взаимоотношения Москвы с Речью Посполитой, Швецией, Австрией, Турцией

обычно рассматривались в отрыве от событий, разыгрывавшихся в Центральной Европе. Опираясь на обширный круг опубликованных источников, Вайнштейн постарался восполнить пробелы. Так, Смоленская война 1632–1634 гг. рассматривалась им как часть общего стратегического плана антигабсбургской коалиции, а неудача в этой войне — как часть общей неудачи, постигшей союзников в середине 1630-х годов и обусловленной общей военной ситуацией в первую пору после гибели Густава-Адольфа.

Осенью 1942 г. защитила кандидатскую диссертацию В. В. Штокмар. Филолог по образованию, Валентина Владимировна училась в аспирантуре под руководством Вайнштейна, соответственно на пограничье истории и филологии была избрана и диссертационная тема — «Произведения Свифта как исторический источник». Вскоре после своей защиты Штокмар была направлена на работу в Иркутский педагогический институт, на кафедру она вернулась в 1945 г., уже в Ленинград.

В 1943 г., когда в учебные планы исторических факультетов был введен новый курс — «История южных и западных славян» — читать его первую, средневековую, часть пригласили находившуюся тоже в саратовской эвакуации Ольгу Ефимовну Иванову. С ее приходом на кафедру славистики наряду с западноевропейской медиевистикой и византиноведением становится неотъемлемой частью учебной и научно-исследовательской работы.

Летом 1944 г. исторический факультет, как и весь университет, вернулся в Ленинград, его реэвакуацией руководил М. А. Гукковский. В октябре начались занятия в отремонтированном силами студентов и сотрудников здании истфака.

¹ Вайнштейн О. Л. История советской медиевистики: 1917–1966. Л., 1968. С. 64.

² Волин М. Против великодержавных тенденций в истории // Историк-марксист. 1930. № 18–19. С. 201.

³ ЛОКА — Ленинградское отделение Коммунистической академии.

⁴ Кондратьева Т. Н. «О положении и задачах на фронте исторической науки» в начале 1930-х годов // Европа: Международный альманах. Вып. 4. Тюмень, 2004. С. 206–207.

⁵ Тюменев А. И. Марксизм и буржуазная историческая наука // Памяти Карла Маркса: Сб. статей к пятидесятилетию со дня смерти. [Л.], 1933. С. 429.

⁶ Там же. С. 442, 445.

⁷ Там же. С. 446, 460; Фролов Э. Д. Русская наука об античности: Историко-графические очерки. СПб., 1999. С. 430.

⁸ Там же.

- ⁹ Алпатов М. А. Русская историческая мысль и Западная Европа (XVIII — первая половина XIX в.). М., 1985. С. 69.
- ¹⁰ Розенталь Н. Н. Маркс и буржуазная историческая наука // Карл Маркс и проблемы истории докапиталистических формаций. М.; Л., 1934. С. 662.
- ¹¹ Там же.
- ¹² Левин Г. Р. Страницы жизни. Ростов н/Д., 2003. С. 8.
- ¹³ Добиаш-Рожественская О. А. Культура западноевропейского Средневековья: Научное наследие. М., 1987. С. 258.
- ¹⁴ Ватромеева О. Б. Человек с открытым сердцем: Автобиографическое и эпистолярное наследие Ивана Михайловича Гревса (1860–1941). СПб., 2004. С. 331.
- ¹⁵ Там же. С. 331–332.
- ¹⁶ Брачев В. С. Первый декан истфака ЛГУ Григорий Соломонович Зайдель (1893–1937) // Мавродинские чтения: 2004. СПб., 2004. С. 96–98.
- ¹⁷ Брачев В. На «белых пятнах» // Ленинградский университет. 1988. 8 марта.
- ¹⁸ Розенталь Н. Н. Гражданская война в Италии V–VI вв. («Варварские» государства Одоакра и вестготов) // Ученые записки Курского педагогического института. 1941. Вып. 1.
- ¹⁹ Автореферат диссертации будет опубликован после войны. См.: Известия АН СССР. Секция истории и философии. 1945. Т. 2. № 5.
- ²⁰ Розенталь Н. Н. 1) Социально-политические воззрения языческой интеллигенции поздней Римской империи // Труды Одесского ун-та. 1949. Вып. 49; 2) Религиозно-политическая идеология Зосима // Древний мир: Сб. М., 1962; 3) Христианство, его происхождение и сущность. М., 1955 (2-е изд. М., 1960).
- ²¹ Архив Российской академии наук (РАН). Ф. 494. Оп. 3. Ед. хр. 53. Л. 32.
- ²² Бочаров Ю. М., Иоаннисiani А. Э. и др. Учебник истории классовой борьбы (X–XX вв.). Вып. 1. М., 1931. С. 3.
- ²³ Киселева Л. И. О. А. Добиаш-Рожественская и ее рекомендации студенту-медиевисту // *Albo dies notanda lapillo*: Коллеги и ученики — Г. Е. Лебедевой. СПб., 2006.
- ²⁴ См. о нем.: Молок А. И. Научные труды и педагогическая деятельность П. П. Щеголева (1903–1936) // История и историки: Историографический ежегодник. 1971. М., 1973.
- ²⁵ Щеголев П. П. Очерки из истории Западной Европы XVI–XVII вв.: Курс лекций. Л., 1938.
- ²⁶ Кондратьев С. Н., Кондратьева Т. Н. Наука «убеждать». Тюмень, 2003. С. 44.
- ²⁷ Там же. С. 46–47.
- ²⁸ Щеголев П. П. Очерки. . . С. 3–4.
- ²⁹ Вайнштейн О. Л. История советской медиевистики: 1917–1966. Л., 1968. С. 87.
- ³⁰ История средних веков. 2-е изд. Т. 1. М., 1941. С. 3.
- ³¹ История средних веков. Т. 1. М., 1938. С. 4–5.
- ³² Вайнштейн О. Л. Предисловие // Тьерри О. Избр. соч. М., 1937 и др.
- ³³ Вайнштейн О. Л. 1) История советской медиевистики. . . 2) Очерки развития буржуазной философии и методологии истории в XIX–XX вв. Л., 1979.

- ³⁴ *Историография истории южных и западных славян.* М., 1987. С. 44, 180 и др.
- ³⁵ *Вайнштейн О. Л.* *Историография средних веков.* ... М.; Л., 1940. С. 111.
- ³⁶ *Косминский Е. А.* *Историография средних веков (V — середина XIX в.): Лекции.* М., 1963.
- ³⁷ *Вайнштейн О. Л.* *Историография.* ... С. 351.
- ³⁸ *Вайнштейн О. Л.* *История советской медиевистики.* ... С. 73, примеч. 11.
- ³⁹ См.: *Медведев И. П.* *Петербургское византиноведение: Страницы истории.* СПб., 2006. С. 290–293. — Текст протокола заседания опубликован там же (С. 302–312).
- ⁴⁰ *Человек с открытым сердцем: Автобиографическое и эпистолярное наследие Ивана Михайловича Гревса (1860–1941) / Автор-составитель О. Б. Вахромеева.* СПб., 2004. С. 341.
- ⁴¹ Там же. С. 340.
- ⁴² Там же.
- ⁴³ *Вайнштейн О. Л.* *Историография.* ... С. 325.
- ⁴⁴ *Вайнштейн О. Л.* *История советской медиевистики.* С. 59.
- ⁴⁵ *Вахромеева О. Б.* *Человек с открытым сердцем.* ... С. 346.
- ⁴⁶ Там же. С. 351.
- ⁴⁷ Там же. С. 346.
- ⁴⁸ *Вайнштейн О. Л.* *Историография.* ... С. 357.
- ⁴⁹ Там же. С. 326.
- ⁵⁰ *Вайнштейн О. Л.* *История советской медиевистики.* С. 60.
- ⁵¹ *Вайнштейн О. Л.* *Историография.* ... С. 271.
- ⁵² См. составленный А. Д. Люблинской и И. С. Шарковой список основных трудов Ольги Антоновны в кн.: *Ершова О. А.* О. А. Добиаш-Рожественская. Л., 1988. С. 104–110.
- ⁵³ *Добиаш-Рожественская О. А.* *Культура западноевропейского Средневековья.* ... С. 259.
- ⁵⁴ *Лебедева Г. Е., Якубский В. А.* О. А. Добиаш-Рожественская о проблеме крестовых походов и идейная цензура 1930-х гг. // *Византийский временник.* Т. 65 (90). М., 2006. — Приводимые ниже цитаты даются по этому изданию.
- ⁵⁵ *Добиаш-Рожественская О. А.* *Культура.* ... С. 259.
- ⁵⁶ О нем. см.: *Прокопьев А. Ю.* *Забывтый историк раннего нового времени: Александр Германович Вульфийс* // *Проблемы социальной истории и культуры средних веков и раннего нового времени.* Вып. 5. СПб., 2005.
- ⁵⁷ *Вахромеева О. Б.* *Человек с открытым сердцем.* ... С. 332.
- ⁵⁸ *Гуревич А. Я.* *Комментарий очевидца // Одиссей.* 2003. М., 2003. С. 301, 302.
- ⁵⁹ *История средних веков.* Т. 1. М., 1938. С. 257.
- ⁶⁰ Там же. С. 253.
- ⁶¹ *Каганович Б. С.* О научном наследии О. А. Добиаш-Рожественской // *Добиаш-Рожественская О. А.* *Культура западноевропейского Средневековья.* ... С. 320.
- ⁶² *Люблинская А. Д.* *Значение трудов О. А. Добиаш-Рожественской для развития латинской палеографии в СССР // Средние века.* Вып. 29. М., 1966. С. 173.
- ⁶³ *Каганович Б. С.* О научном наследии О. А. Добиаш-Рожественской. С. 313.

⁶⁴ Источниковедение западного Средневековья // Добиаш-Рождественская О. А. Культура западноевропейского Средневековья... С. 52–92.

⁶⁵ Цит. по: Каганович Б. С. Русские медиевисты... С. 137.

⁶⁶ Луковский М. А. К вопросу о сущности так называемого «Итальянского Возрождения» // Памяти Карла Маркса: Сб. статей к пятидесятилетию со дня смерти. Л., 1933. С. 740, 744 и др.

⁶⁷ Вайнштейн О. Л. Историография... С. 357.

⁶⁸ Объединенный архив СПбГУ (ОА СПбГУ). Ф. 1. Св. 89. Д. 848. Л. 40.

⁶⁹ Вайнштейн О. Л. История советской медиевистики. С. 96.

⁷⁰ Вайнштейн О. Л. Историография... С. 357, примеч. 1.

⁷¹ Цит. по: Кондратьев С. В., Кондратьева Т. Н. Наука «убеждать». С. 141.

⁷² Добиаш-Рождественская О. А. Культура ... С. 243.

⁷³ Ленинградский университет. 1819–1944. М., 1945.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

За годы войны ленинградская медиевистика понесла тяжелые утраты. И. В. Арский пал на Ленинградском фронте еще в 1941 г. В 1942 г. погиб от голода в блокадном Ленинграде другой талантливый ученик О. Л. Вайнштейна Г. И. Иодко, который в 1941 г. успел защитить диссертацию на тему «Немецкая колонизация в Силезию в XIII–XIV вв.». Не вернулся с фронта С. Н. Эйзенштейн, подававший большие надежды итальянист, питомец Гуковского. . . Погибли многие другие аспиранты, студенты и преподаватели. Теперь, в мирных условиях, кафедра, невзирая на горечь военных потерь, на тяготы послевоенного быта, самым активным образом разворачивала свою педагогическую и научную деятельность. В бодрых публикациях тех лет и позднейших воспоминаниях истфакийцев часто ощутимы декларативность либо натяжки, но, бесспорно, оптимистичный настрой в самом деле тогда преобладал.

Собственно медиевистических кафедр на истфаке в 1945 г. стало две: по инициативе М. В. Левченко и под его началом была создана единственная в Советском Союзе кафедра византиноведения. Митрофан Васильевич привлек к преподаванию видных ученых из академических институтов, Эрмитажа, Публичной библиотеки — Н. В. Пигулевскую, Е. Э. Липшиц, А. В. Банк, Е. Ч. Скржинскую, С. В. Полякову и др. Общими усилиями они стремились возродить и приумножить сильно захиревшие за последние десятилетия традиции отечественной византистики. Работа шла в тесном контакте с византийской группой Ленинградского отделения Института истории АН СССР. При живом участии сотрудников кафедры с 1947 г. было возобновлено издание «Византийского временника», ставшего основным печатным органом отечественного византиноведения. Уже в 1946 г. ученые кафедры подготовили важные раз-

дела для хрестоматии «Сборник по социально-экономической истории Византии» (М., 1951), которая явилась незаменимым пособием не только для студентов-византинистов, но и для специалистов в смежных областях научного знания. Среди первых питомцев этой кафедры были такие, в будущем известные ученые, как И. Ф. Фихман, Г. Л. Курбатов, К. Н. Юзбашян.

О. Л. Вайнштейн, по-прежнему возглавлявший кафедру истории средних веков, позаботился о том, чтобы вовлечь в ее работу вернувшихся из армии М. А. Когана, В. И. Рутенбурга, в военную пору преподававшую в Иркутске В. В. Штокмар и др. В сентябре 1946 г. доцентом кафедры становится А. Д. Люблинская, которой было поручено вести курсы источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин.

В годы войны удавалось публиковать в лучшем случае брошюры или статьи научно-популярного, пропагандистского характера. Теперь медиевисты наверстывали упущенное. Помимо прочего в издательстве Академии наук в 1947 г. вышла фундаментальная монография М. А. Гуковского «Механика Леонардо да Винчи», в основу которой легла защищенная перед войной докторская диссертация. Почти одновременно с ней издательство Ленинградского университета выпустило первый том «Итальянского Возрождения» того же автора. В предисловии к своей книге М. А. Гуковский констатировал, что фактически ни один из существующих в науке сводных трудов не покрывает всего материала Ренессанса и нельзя указать книги, в которой читатель нашел бы описание эпохи как целого, а это, в свою очередь, вызывает к жизни различные и нередко весьма малообоснованные попытки синтетического определения и анализа эпохи. «Вышеприведенные соображения, — развивал свою мысль Гуковский, — и побудили меня, после более чем двадцатилетнего изучения отдельных проблем истории Возрождения, приступить к написанию работы, дающей его общую характеристику [...]. Не подлежит сомнению, что моя работа имеет немало серьезных недостатков. Мне кажется, однако, что недостатки эти могут быть оправданы, поскольку моя книга является первой в своем роде попыткой сводной работы».¹ Отклики специалистов покажут, что надежды исследователя были достаточно обоснованными.

Предварительные итоги своим занятиям внешнеполитической проблематикой Тридцатилетней войны и выяснению роли Москвы в этом конфликте подвел О. Л. Вайнштейн в монографии «Россия и Тридцатилетняя война 1618–1648 гг.: Очерки из истории внеш-

ней политики Московского государства в первой половине XVI в.», выпущенной Госполитиздатом все в том же 1947 г.

Время наложило сильный отпечаток как на концепцию, так и на стилистику книги. К примеру, император Фердинанд II Габсбург именовался в ней «главой католической реакции и партии агрессивной немецкой политики во всем мире», восстание сословий в Чехии 1618–1620-х годов было охарактеризовано как «национальная революция»² и т. п. Вместе с тем превосходное знание общеевропейских реалий XVII в. и осторожность опытного исследователя удерживали О. Л. Вайнштейна от гиперболизации того вклада, какой внесла Москва в дело антигабсбургской коалиции. Критикуя (не всегда с должным основанием) старую историографию за пренебрежение к русской теме в истории Тридцатилетней войны, он в то же время скептически отозвался о предпринятой незадолго до того попытке профессора Б. Ф. Поршнева перегнуть палку в другую сторону, приписав позиции московского правительства решающее влияние на заключение польско-шведского перемирия в Альтмарке. Поскольку Альтмаркский договор 1629 г. явился, как общепризнано, необходимой предпосылкой вступления Швеции в борьбу с Габсбургами, по Поршневу получалось, что и самый исход Тридцатилетней войны был в значительной мере предрешен антигабсбургской ориентацией русской внешней политики.³

Е. В. Тарле в «Вопросах истории» (1948. № 3), А. Д. Люблинская в «Вестнике Ленинградского университета» (1948. № 7) отметили, что книга Вайнштейна кладет начало углубленной разработке большой и чрезвычайно актуальной для советской исторической науки темы. Не во всем соглашаясь с автором, напоминая о необходимости в дальнейшем привлечь архивные материалы, оба рецензента в целом высоко оценили новую монографию. Другого мнения, что, впрочем, неудивительно, придерживался Б. Ф. Поршнев. Его рецензия наряду с весьма дельными замечаниями содержала откровенные придирки. В конечном счете он перевел спор в далекую от науки плоскость. «Оказывается, — писал Поршнев, на свой лад перетолковав суждения Вайнштейна относительно внешнеполитического курса Русского государства при первом Романове, — автор написал свою книгу о связи русской истории с историей Тридцатилетней войны не для того, чтобы опрокинуть мнение, будто Россия и Запад в XVII в. были изолированы друг от друга, а для того, чтобы показать вредность и беспочвенность попыток России выйти из состояния изоляции на общеевропейскую политическую арену».⁴

В тональности отзыва сквозила личная обида. Так его и воспринял обруганный автор. Однако в данном случае рецензент не просто выразил свои чувства — он при этом учел новые идеологические веяния, которые набирали силу с выходом в августе 1946 г. постановления ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”». Вскоре после постановления под удар попал посвященный Д. М. Петрушевскому второй выпуск сборника «Средние века» и последовали другие печальные события

Как тогда воспринимались такие акции? Будет, пожалуй, к месту цитата из академических «Очерков истории исторической науки в СССР»: «ЦК ВКП(б) принял ряд постановлений, направленных против проявлений аполитичности и безыдейности на разных участках идеологического фронта. В них ставились вопросы идеологической работы, борьбы с буржуазной философией, идейного воспитания трудящихся, которые касались и историков и ориентировали их на решение важных задач. В условиях обострения противоречий между империализмом и социализмом было важно провести четкое и последовательное противопоставление марксистско-ленинских принципов пролетарского интернационализма идеям буржуазного космополитизма и национализма».⁵

В 1970-е годы, когда все это писалось академиком Л. В. Черепным, текст звучал либо как проявление откровенного обскурантизма, либо как вынужденная дань партийной идеологии, другими словами, звучал фальшиво. Фальши в избытке хватало и в 1940-х годах, тем не менее, если говорить не о смысле самих событий, а только об их восприятии современниками, приведенный выше набор казенных фраз, насколько можно судить, более или менее адекватно отражал умонастроения многих. Ставшие расхожими обличительные тирады относительно влияния буржуазной идеологии на часть советских историков были созвучны тому, что тогда говорили и писали (не только по обязанности) О. Л. Вайнштейн и другие члены кафедры.

Подобным образом воспринимать то, что происходило вокруг, ленинградским медиевистам было тем легче, что погромная критика пока их непосредственно не очень задевала. Так, весной 1948 г. Всесоюзное совещание заведующих кафедрами истории СССР университетов и пединститутів вынесло суровый приговор изданной в 1941 г. «Русской историографии» Л. Н. Рубинштейна (которая до наших дней не выпала из научного оборота). Редакционная статья «Против объективизма в исторической науке» из декабрьского но-

мера «Вопросов истории» за 1948 г. бичевала «ошибки и извращения» в трудах московских ученых. Из ленинградцев в ней досталось одному С. Н. Валку. Как бы стороной прошла и появившаяся 28 января 1949 г. в «Правде» злобешая статья «Об одной антипатриотической группе театральных критиков». Хотя на истфаке ЛГУ мало кого обрадовало назначение в январе 1949 г. деканом профессора Н. А. Корнатовского, человека угрюмого и придирчивого, ни в чем не похожего на своего предшественника В. В. Мавродина, но политический подтекст произведенной замены тоже открылся не сразу.

Сколь мало осознавались масштабы надвигающейся беды, видно по выступлению О. Л. Вайнштейна на Ученом совете исторического факультета 1 февраля 1949 г. Имея основания считать себя опытным лектором, он охотно согласился выступить по вопросам методики преподавания и в спокойной, академической манере прочел доклад «О построении общеуниверситетских курсов истории».⁶ Докладчик, традиции не нарушив, произнес положенные слова об идейно-политическом воспитании студенчества, но все свое внимание сосредоточил на сугубо практической стороне дела — на том, как должен лекционный курс соотноситься с министерской программой и учебником.

Убеденный, что лекция, строго следующая за всеми пунктами программы, неизбежно превратится в сухой конспект учебника, он отстаивал право преподавателя по своему усмотрению отбирать темы, на которых следует остановиться. Содержание курса может варьировать в зависимости, например, от состава аудитории, но при одном условии: оно, это содержание, подчеркивал Осип Львович, обязано отвечать современному состоянию науки. При этом предлагалось большое место отводить освещению спорных и запутанных проблем. В своих рассуждениях докладчик зашел так далеко, что даже усомнился, нужны ли вообще принятые у нас подробнейшие программы, которые лектору не приносят никакой пользы, а для нерадивого студента на экзамене становятся своего рода шпаргалкой.

Казалось бы, если в чем и можно было упрекнуть Вайнштейна, так разве что в повторении общеизвестных истин. Однако вопрос, заданный Н. А. Корнатовским по окончании выступления, сразу показал, что претензии будут куда более серьезными. Декана интересовало, распространяет ли докладчик свои рекомендации на преподавание истории партии и как они согласуются с указаниями ЦК ВКП(б) по поводу постановки изучения «Краткого курса».

О. Л. Вайнштейн, конечно, поспешил заверить, что историю партии он в виду не имел, указав одновременно на всю неуместность сравнения «Краткого курса» с обыкновенными учебниками, о которых в данном случае только и идет разговор. Контрвыпад не помог. Доцент Г. В. Ефимов, профессор Н. А. Корнатовский и другие выступившие строго напомнили, что «общий курс должен быть большевистским, воинствующим курсом» и т. п. Вконец растерявшемуся Вайнштейну, который сам умел произносить речи в духе воинствующего марксизма-ленинизма, но не привык быть объектом таких проработок, не оставалось ничего лучшего, как признать себя «плохим методистом».

Две недели спустя заведующие кафедрами на заседании Ученого совета истфака отчитывались о состоянии идейно-воспитательной работы. И на этот раз Вайнштейну пришлось самокритично признавать свои серьезные промахи: оказалось, медиевистами все еще даже не обсуждался вопрос об идейно-политическом самовоспитании членов кафедры. «Есть, — записано в протоколе, — черты формализма в проработке работ Ленина и Сталина». ⁷ Впрочем, все это были цветочки по сравнению с тем, что последовало в самом недалеком будущем.

Антикосмополитская кампания раскручивалась стремительно и повсеместно. Среди историков каждый день находили новых и новых низкопоклонников перед Западом. Царил своеобразный демократизм: обличителями именитых ученых выступали люди, мало чем себя проявившие в науке (нередко попросту невежественные). Откуда и по какому поводу будет брошен камень, предугадать бывало трудно. Так, 16 марта 1949 г. «Учительская газета» довела до всеобщего сведения, что на партсобрании в Учебно-педагогическом издательстве суровой критике были подвергнуты академик Косминский и его соавторы по «Методическим указаниям по истории средних веков», где история была представлена «как всемирно-исторический процесс без учета национальных особенностей каждой в отдельности страны». Коль в безобидной методичке нашли проявления космополитизма и буржуазного национализма, то обрушиться на «Историографию» Вайнштейна сам Бог велел. Книга, которую еще недавно хвалили за широту авторского кругозора, за проблемность и новаторство, вдруг стала идеальной мишенью для нападок, чуть ли не каждую уважительную оценку трудов иностранного ученого начали ставить Вайнштейну в вину.

Истфак ЛГУ несколько запаздывал с активным включением

в охоту на космополитов. Зато потом деканат и партбюро постарались, и проходившая 4–5 апреля теоретическая конференция «Против космополитизма в исторической науке» по своей агрессивности даже обогнала многие другие подобные мероприятия. Ее стенограмма не способна передать всего накала страстей, а тех, кто присутствовал тогда в набитом до отказа лектории исторического факультета, порой подводит память. Потому описания происходившего не во всем совпадают, иные из выступлений участников толкуются по-разному. Так, у В. М. Панеяха, чью интереснейшую книгу в целом отличают точность в изложении фактов и строгая аналитичность, почему-то речь В. В. Струве ассоциировалась с нелепой похвалой академика своими высокопоставленными учениками,⁸ хотя, на наш взгляд, вернее было бы подчеркнуть другое: Василий Васильевич Струве, раз ему уж все равно было никак не уклониться от выступления, предпочел не громить своих коллег, а порассуждать о собственном недостаточном овладении марксизмом, преодолевать которое ему помогают ученики. С другой стороны, трудно согласиться с утверждением Панеяха, что «М. С. Каган выступил решительно и смело, в отличие от многих других, весьма достойно».⁹ Стенограмма тогдашнего выступления Моисея Самойловича Кагана, к сожалению, пестрит грубыми выпадами в адрес Н. Н. Пунина, В. В. Шкловского, Л. З. Трауберга.

Устроители конференции не пустили дело на самотек. Тщательно подбирались кандидатуры — кто и кого будет изобличать. Без О. Л. Вайнштейна, «правоверного», всегда активно откликавшегося на все руководящие указания партийца (членом ВКП(б) он стал в 1942 г.), к тому же единственного, можно сказать, профессионального историографа на факультете, чьи труды, однако, оказались несозвучными текущему моменту, теоретическая конференция, все понимали, не обойдется. Вопрос был только в том, какую роль ему отведут — инквизитора либо кающегося грешника? Без признания собственных ошибок ему, очевидно, тоже было не обойтись. Тем не менее включение в повестку первого дня конференции его доклада под названием «Космополитизм в исторической науке и борьба с ним» указывало как будто на первый из вариантов.

В таком ключе О. Л. Вайнштейн и начал свой длинный, в стенограмме занявший 20 страниц машинописи, доклад.¹⁰ Теоретическая его часть, призванная «выяснить происхождение космополитизма, его корни, его связи с силами реакции», была, как из кубиков, собрана из броских клише: «космополитизм и национализм —

это родные братья», «от космополитизма до буржуазного национализма один только шаг», «космополитизм служит только прикрытием для крайнего агрессивного национализма» и пр. В число промежуточных ступеней на многовековом пути становления космополитических идей докладчик, понимая, чего от него требуют, записал и всегда привлекавшее его Просвещение. Вольтер, любимый писатель Осипа Львовича, которого тот в свободные минуты читал и перечитывал, и прочие энциклопедисты были аттестованы в докладе как люди, сочетавшие космополитизм с французским буржуазным национализмом.

Аудитория, вполуха слушавшая знакомые стереотипные фразы, насторожилась, когда Вайнштейн, напомнив, что «нас здесь интересуют формы болезни космополитизма в советской исторической науке», перешел к отечественным носителям вредоносных идей. Таковые он подразделил на три категории.

В первую попали компаративизм и соответственно компаративисты во главе с академиком А. Н. Веселовским. Прежде Осип Львович не считал историко-сравнительные изыскания бесплодными и антинаучными, а основоположнику этого направления в российском литературоведении отводил почетное место в историографии средних веков. Но времена изменились. Сейчас покойный академик многим конъюнктурщикам и недоучкам представлялся чем-то вроде мальчика для битья, и докладчик, замаливая свои идеологические прегрешения, не мог не осудить Веселовского. Присутствовавшим в лектории медиевистам это было понятно, но они никак не могли себе объяснить, чего ради тут же был раскритикован М. М. Ковалевский, да еще в качестве автора «Английской пугачевщины». Было заявлено, что эта статья «грешит космополитизмом и антиисторичным компаративизмом», хотя даже по логике ревнителей российских приоритетов работа о восстании Уота Тайлера в 1381 г., предшественница классической монографии Д. М. Петрушевского, скорее, казалось бы, заслуживала похвалы.

«Другая группа космополитических ошибок в историографии, — продолжал докладчик, — связана с недооценкой, а иногда и с полным игнорированием значения своей родины в международной жизни минувших столетий и десятилетий. Этот уклон обычно сопровождается недооценкой или игнорированием отечественных источников». В качестве характернейшего примера раболепия до-революционной русской интеллигенции перед иностранщиной были названы труды Г. В. Форстена, те самые, о которых до того Вайн-

штейн отзывался с неизменным уважением. В 1940 г. он писал, что события в Балтийском регионе XV–XVII вв. — борьба Дании с Ганзой, важные проблемы Тридцатилетней войны, русско-шведских и русско-датских отношений — были этим ученым освещены с исчерпывающей полнотой на основании многочисленных и впервые привлеченных архивных материалов.¹¹ Совсем недавно, в 1947 г., уже сделав поправку на новые веяния в политике и отметив, что Форстен «не дает русского аспекта общеевропейского военного кризиса», Вайнштейн, тем не менее, отдавал должное ученому, в чьих исследованиях «заключено немало материалов, проливающих свет на международные связи России».¹² Ныне же все виделось в другом свете: «На тысячах страниц своих трудов Форстен цитирует только иностранные источники и только иностранную литературу», «он дает не русский, а датско-шведско-голландско-германский, т. е. космополитический аспект борьбы за Балтику».

К третьей группе Осип Львович отнес космополитические ошибки и извращения, вытекающие «из погони за последним словом западноевропейской науки». На роль представителя тех историков, что недооценивают отечественную научную литературу, не видят ее оригинальности, самостоятельности, ее влияния на мировую историческую мысль, он избрал академика Д. М. Петрушевского. На этот раз не было нужды кривить душой: ортодоксальный марксист Вайнштейн во все времена отрицательно относился к методологическим исканиям автора «Восстания Уота Тайлера».¹³ Он не удержался от соблазна изобразить научный путь академика как ряд попеременных увлечений модными на Западе теориями — экономизмом, потом риккерттианством, потом идеями Макса Вебера и Альфонса Допша. Не без удовлетворения констатировалось, что в печати уже осудили «несколько крупных московских медиевистов» (т. е. Е. А. Косминского, А. И. Неусыхина и др.) за попытку во втором выпуске сборника «Средние века», увидевшем свет в 1946 г., представить Петрушевского стихийным марксистом.

Нетрудно было, следуя развязной манере тогдашней прессы, издеваться над космополитом Петрушевским («Что ему книга последняя — конечно, иностранная — скажет, то на душе его сверху и ляжет», — иронизировал докладчик) или, опять же в духе времени, круто изменив свою позицию, чернить Форстена, которого вчера хвалил. Но страшила необходимость от чужих грехов переходить к собственным идеологическим ошибкам, на которые уже строго указала партийная критика. Нельзя было их не признать,

но и не менее опасно было переусердствовать в самобичевании. Сознание всего этого, очевидно, и придало докладу необычные для О. Л. Вайнштейна сбивчивость изложения, частые повторы, немотивированность отбора привлекаемых имен и произведений, явный перебор в хлестких оценках.

В свете новейших партийных установок оказавшиеся неуместными суждения о Ковалевском или Форстене все же не составляли большого криминала. Несравнимо весомее была инкриминируемая Осипу Львовичу антипатриотическая недооценка мирового значения русской медиевистики. Поневоле прозревший под напором упреков «советской общественности», докладчик признал главу «Историография средних веков в дореволюционной России» из своей книги 1940 г. в целом порочной. Заодно он радикально пересмотрел отношение к зарубежной русистике. «Что сделала западно-европейская наука для истории России средних веков?» — задавал он риторический вопрос и решительно отвечал: «Ровным счетом ничего». По его словам, среди западных авторов нельзя назвать хотя бы одного, кто «в области истории России мог бы сравниться даже с рядовым русским историком». Можно себе представить, под каким идеологическим прессом должен был находиться добросовестный и знающий человек, чтобы сказать подобное о Г. Ф. Миллере, А. Л. Шлещере, А. А. Кунике!

В публичном покаянии никуда было не уйти от вопроса о Т. Н. Грановском, вернее, о данной в 1940 г. оценке его трудов: «Ученые произведения Грановского отличаются большим художественным достоинством, но они ничего нового в науку не вносят».¹⁴ В довоенную пору оценка не привлекла ничего внимания. Профессору всеобщей истории Московского университета и другу А. И. Герцена исследователи отводили видное место в истории русской общественной мысли XIX в., но его научное наследие котирировалось невысоко. Кто мог предвидеть, что во второй половине 1940-х годов на волне поощряемых властью ксенофобии и маниакального поиска российских приоритетов акции Грановского-ученого так резко пойдут в гору. Сложно сейчас угадать, что двигало его послевоенными апологетами — искренняя вера, давление обстоятельств или карьерные мотивы, но результат был налицо. В печатных и устных выступлениях С. А. Асиновской, Е. В. Гутновой, В. Е. Иллерицкого и др. Грановский предстал основоположником отечественной медиевистики, который во многих отношениях превосходил О. Тьерри, Ф. Гизо и других корифеев западной науки. Мало того, официаль-

ная пропаганда повернула дело так, что оценка научных заслуг Т. Н. Грановского стала чем-то вроде лакмусовой бумажки при проверке историографов на патриотизм.

Осип Львович, именуя Т. Н. Грановского в докладе «крупнейшим русским ученым», полностью отрекся от своих прежних, ныне звучавших кощунственно, слов. Главную вину за обнаружившиеся здесь «проявления раболепия перед иностранной наукой» он переложил на покойного (умер в 1931 г.) харьковского антиковеда и историографа В. П. Бузескула, у которого-де им были бездумно, некритично, без собственного изучения материала, позаимствованы в корне неверные суждения. «Правда, — с некоторой торжественностью продолжал докладчик, — марксистско-ленинская методология уберегла меня от повторения некоторых грубейших ошибок Бузескула» (каковые тут же были подробно перечислены). Всерьез воспринимать объяснения О. Л. Вайнштейна не приходится. Он хорошо знал труды самого Грановского, был знаком с литературой о них, частично указанной в примечаниях к разделу о нем в «Историографии». Следы знакомства видны и в тексте раздела: так, речь «О современном состоянии и развитии всеобщей истории» (1852) цитируется здесь по работе П. Н. Милюкова. Но, понятно, в 1949 г. лучше уж было сознаться в заимствовании у советского академика Бузескула, чем у белоэмигранта (как тогда его величали) Милюкова.

Трагикомизм ситуации состоял в том, что, по сути дела, О. Л. Вайнштейну здесь особенно каяться было не в чем. Когда сегодня читаешь раздел о Т. Н. Грановском в «Историографии средних веков», не понять даже, чего ради эти две с половиной страницы вызвали столько шума и столь дорого обошлись их автору. За прошедшие с тех пор десятилетия информация о Грановском и его эпохе обогатилась заметно. Опубликованы его лекционные курсы, о нем написано немало статей и книг. Тем не менее текст Вайнштейна не кажется безнадежно устаревшим. Конечно, требует корректив его трактовка либерализма, западничества, славянофильства, порой режет глаз привычная для 1930-х годов лексика. Но характеристика Грановского-ученого, как нам представляется, в целом выдерживает проверку временем.

Что, кроме квазипатриотической риторики, можно противопоставить, скажем, таким утверждениям: «Докторская диссертация об аббате Сутгерии, написанная под сильным влиянием “Писем об истории Франции” Ог. Тьерри, является хорошей для своего вре-

мени работой, но она никаких новых путей в науке не прокладывала [...]. Не будучи исследователем, Грановский самостоятельно перерабатывал продукцию европейской исторической мысли и был даже по нашим масштабам исключительно широко образованным историком». Не случайно тогда и много позднее оппоненты Вайнштейна уклонялись от анализа отдельных произведений Грановского. Избегали они и конкретного сопоставления работ московского профессора с книгами его современников — французов и немцев. В ход пускались обтекаемые обороты типа «Грановский высказал мысли раньше, чем многие из западных историков...»,¹⁵ «в отличие от большинства историков...».¹⁶ Не менее показательно, что, когда стихнет «охота на ведьм», те же бдительные поклонники Грановского как ни в чем не бывало станут использовать предаваемые анафеме в 1949 г. формулировки вроде: «Вслед за Тьерри Грановский сочувственно говорил...»¹⁷ или «Грановский вслед за Гизо считал...».¹⁸

Как видим, Осипу Львовичу было что ответить на обвинения в очернительстве Т. Н. Грановского и в космополитизме. Он мог бы напомнить, что в свое время Н. Н. Страхов и другие люди не самого прогрессивного образа мыслей не раз называли космополитом самого Грановского. Больше того, он мог опереться на авторитетное мнение Н. Г. Чернышевского, который весьма чтит московского историка и тем не менее писал о нем: «Человек, по природе и образованию призванный быть великим ученым и шедший всю жизнь неуклонно и неутомимо по ученой дороге, не оставил, однако, по себе сочинений, которыми наука двигалась бы вперед».¹⁹ (Примечательно, что это место из статьи «Сочинения Т. Н. Грановского» почитатели Грановского тех лет, обильно цитируя великого революционного демократа, никогда не упоминали.)

Вместо того чтобы отбиваться от недобросовестных или невежественных критиков, Вайнштейн капитулировал, понимая, должно быть, самоубийственность любой попытки доказывать свою правоту. Возможно, сработал и воспитанный советской системой рефлекс: раз партийная печать говорит, что Грановский — великий исследователь, значит, так надо.

Уроки 1949 г. Осип Львович усвоил твердо и два десятилетия спустя, совсем уже в иных обстоятельствах, писал о Грановском как об «основоположнике русской медиевистики».²⁰ Правда, в лекциях по историографии, какие ему довелось еще пару лет после злополучной теоретической конференции читать на истфаке ЛГУ,

он ставил вопрос о том, что при всей относительности понятия «основоположник» на это звание с не меньшим основанием имел бы право претендовать Н. В. Гоголь, который, как известно, в 1834–1835 гг. был адъюнктом всеобщей истории Петербургского университета. Собственно, мысль об этом сквозила и в книге 1940 г.²¹ К слову сказать, в учебнике Е. В. Гутновой, где русской медиевистике XIX в. отведена сотня страниц — раза в три больше, чем у Вайнштейна, — имя Гоголя вовсе не фигурирует.

Далее докладчик заверил аудиторию, что им делается все, что в его силах, для искоренения объективизма, аполитичности, преклонения перед иностранщиной, для разоблачения реакционности современной буржуазной, особенно американской, историографии. В том числе он в соответствующем направлении уже перерабатывает свою «Историографию». «Готовясь к переизданию данной книги, — продолжал Вайнштейн, — переосмысливая весь материал в духе установок партии по идеологическим вопросам, я считаю первейшим партийным долгом и долгом научной чести не только квалифицировать упомянутые ошибки как космополитические и антинаучные, но и сделать все возможное для их скорейшего устранения».

Под занавес докладчиком было признано наличие космополитических ошибок и в его новейшей, 1947 г. издания, монографии «Россия и Тридцатилетняя война». Автор настоятельно подчеркивал, что обратился к далекой от его прежних научных интересов теме из патриотических побуждений — необходимо было показать истинную роль России в международной жизни первой половины XVII в., замалчиваемую как в зарубежной, так и в русской литературе. Однако, как самокритично констатировал О. Л. Вайнштейн, он, увлекшись использованием враждебных России источников, невольно сместил всю историческую перспективу и перенес логический центр тяжести от России к Западной Европе, «тогда как в советской книге должно было бы быть наоборот». Чтобы исправить положение, он в своей дальнейшей работе над темой сделает упор на материалы Центрального государственного архива древних актов и надеется на помощь со стороны коллег-историков СССР.

Выступление, как положено, заканчивалось на оптимистической ноте. Приветствовав принципиальное, честное, не считающееся с мелкими уколами самолюбия, т. е. глубоко партийное обсуждение, докладчик воскликнул: «Так и только так, коллективными усилиями и взаимной помощью друг другу, беспощадной борьбой со свои-

ми ошибками, мы можем творить историческую науку, достойную сталинской эпохи!».

Образец ожидаемой им взаимной помощи и беспощадной борьбы с ошибками был продемонстрирован Осипу Львовичу с трибуны теоретической конференции на следующий же день. Слово взял преподаватель кафедры истории СССР В. И. Легкий, мотивируя появление на трибуне тем, что О. Л. Вайнштейн накануне так и не подверг свою последнюю книгу должной критике. Но по всем признакам речь Легкого²² не была импровизацией. Владимир Игнатьевич, похоже, выполнял заранее полученное партийное поручение, т. е. устроители конференции, по-видимому, с самого начала не желали дело о космополитизме профессора Вайнштейна спускать, как говорится, на тормозах. Покаянного доклада им оказалось недостаточно, и они предусмотрели выступление, клеймящее «крупные ошибки в оценке внешней политики Русского государства».

В. И. Легкий в суждениях о монографии «Россия и Тридцатилетняя война» избегал полутонов. По его утверждению, автор книги приступил к выполнению важной задачи — анализу внешней политики Московского государства в первой половине XVII в. — с совершенно недостаточными средствами: в основу были положены тенденциозно подобранные публикации источников, дающие превратные представления о роли России в европейской политике, и сугубо объективистский подход к работам буржуазных, в особенности иностранных, историков губительно отразился на содержании книги, и т. п.

Оратор длинно перечислял свои претензии по поводу освещения отдельных эпизодов дипломатической и военной истории накануне и в период Тридцатилетней войны. В любом упоминании автора монографии о недостаточной осведомленности Москвы в европейских делах или об ее промахах на дипломатическом поприще Легкому виделось неуважение к прошлому нашей страны. Больше всего возмущали его предлагаемые Вайнштейном объяснения причин тех или иных событий.

Проблема каузальных связей, как известно, принадлежит к числу самых трудноразрешимых. Редко когда историк способен однозначно выявить логику закулисных переговоров и без колебаний ранжировать факторы, которые привели, например, к подписанию мирного договора. Те же трудности стояли перед О. Л. Вайнштейном, когда он, допустим, искал главную причину, заставившую польского короля Сигизмунда III в декабре 1618 г. заключить Де-

улинское перемирие с Москвой. Исследователь отметил, что за два месяца до этого сорвалась попытка поляков штурмовать русскую столицу, что в Речи Посполитой крепло недовольство затянувшейся войной. Однако на первое место им был поставлен, в соответствии с показаниями источников, нажим со стороны союзницы поляков — Австрии, которая в тот момент остро нуждалась в помощи и требовала, чтобы Сигизмунд поскорее развязал себе руки на востоке.

В. И. Легкого доводы Осипа Львовича нисколько не удовлетворили. По его словам, профессор Вайнштейн совершенно сбросил со счетов героическую борьбу русского народа за свою государственную независимость. На самом деле, утверждал оратор, Деулинское перемирие стало «результатом банкротства всех захватнических планов Польши в отношении России». Неудача октябрьского штурма Москвы поставила польскую армию «в безвыходное положение». Увлечшись разоблачением книги и ее автора, Легкий не заметил (а ему, разумеется, никто не указал), что при такой постановке вопроса политика русского правительства выглядит, по меньшей мере, глупой. Ведь, как известно, условия перемирия 1618 г. были для Москвы весьма тяжелыми, они оставляли за поляками Смоленск, Чернигов и многие другие города.

Впрочем, в выступлении В. И. Легкого страдала не только логика, оратор не удержался и от прямой передержки. Заявлено было, что Вайнштейн представил Москву «в качестве объекта европейской политики». Взятые в кавычки слова, сопровождаемые отсылкой к соответствующей странице критикуемой книги, создавали впечатление, что такова позиция автора. В действительности же эти слова вырваны Легким из контекста, где Осип Львович как раз и порицал Г. В. Форстена за такой подход к проблеме. Пропитанная демагогией речь В. И. Легкого кончалась выводом: «Книга Вайнштейна, несмотря на добрые намерения автора, дезориентирует советского читателя».

Критиковали Осипа Львовича и некоторые другие коллеги по факультету. Профессора А. И. Молока возмутил раздел «Историографии средних веков», посвященный современной американской науке — точнее, даже не сам раздел, а его заголовок: «“Расцвет” медиевистики в США». Слово «расцвет» автором книги было взято в язвительные кавычки, и весь текст раздела свидетельствовал о самом пренебрежительном отношении историографа к американским медиевистическим штудиям. Но Александра Ивановича это никак не удовлетворяло. Разве можно говорить о расцвете, пусть

даже в кавычках, науки в Соединенных Штатах? — с негодованием задавал он риторический вопрос, забывая о такой мелочи, как то, что сам числился «ответственным редактором» теперь поносимого им учебника.

Итоги теоретической конференции подвел Н. А. Корнатовский. Он заявил, что ошибки антипартийного характера, допущенные преподавателями истфака, позволяют говорить о серьезном неблагополучии на факультете. Адрес критики был обозначен так: «О. Л. Вайнштейн и другие». «Я не думаю, — развивал свою мысль декан, — что в работах Вайнштейна были только отдельные ошибки и отдельные ошибочные формулировки и положения. Видно, следует признать О. Л. Вайнштейну определенную неверную направленность своей работы».²³

Осип Львович, которому неделю спустя при обсуждении на Ученом совете вопроса «О борьбе с космополитизмом в исторической науке» еще раз строго напомнили о его прегрешениях,²⁴ оказался единственным из факультетских медиевистов, кого на этот раз выбрали мишенью массированных проработок. В. М. Панеях, пожалуй, напрасно внес в перечень ученых, подвергшихся на конференции грубым нападкам, наряду с Я. С. Лурье, С. Н. Валком, О. Л. Вайнштейном и другими также Матвея Александровича Гуковского.²⁵ Месяца через три Матвей Александрович вместе со своим младшим братом-филологом Григорием Александровичем будет арестован как враг народа; пока же его, как и остальных членов кафедры истории средних веков, за вычетом Осипа Львовича, ежели и упрекали за проявления космополитизма, то лишь мимоходом.

Матвей Александрович тоже выступил на теоретической конференции — на втором заседании, еще до речи В. И. Легкого,²⁶ — и как-то сумел более или менее остаться в кругу общих, пусть и малосодержательных, рассуждений, избегая грубых персональных выпадов. Профессор, следуя предписанной ситуацией тональности, с пафосом говорил о проблеме Возрождения и идущей вокруг нее идеологической борьбе, «в которой с большой яркостью и полнотой отражается как воинствующая реакционная сущность гниющей исторической науки буржуазных стран и в первую очередь США, так и непобедимая, строго научная обоснованность исторических концепций, построенных на гранитном фундаменте учения Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина». Неизбежные критика коллег и самокритика присутствовали здесь в аптекарских до-

зах. М. А. Гуковский обещал, что в подготовленном им втором томе монографии «Итальянское Возрождение» полностью ликвидирует объективизм, что буржуазные работы будут оцениваться «достаточно критически и зло». Лишний раз не мешает напомнить, что по причинам, от автора не зависевшим, второй том увидит свет только в 1961 г., уже в ином идейно-политическом климате.

Кто весной 1949 г. думал, что признание ошибок, реальных или мнимых, разрядит обстановку на факультете, тот сильно заблуждался. В университете, как и по всей стране, антикосмополитская кампания набирала обороты, а на берегах Невы к репрессивным мероприятиям всесоюзного масштаба вскоре присоединятся отзвуки так называемого «Ленинградского дела».

Зловещий характер происходящего истфакийцы сполна ощутили в июне, когда началась переаттестация преподавательского состава. Если на первом этапе борьбы с космополитизмом главной уликой служило печатное слово, то возглавляемая деканом аттестационная комиссия, проверяя идейную устойчивость и профессиональную пригодность сотрудников, взвешивала все — степень участия в общественной жизни факультета, успехи в политическом самообразовании и т. д. Собирая разный компромат, комиссия не брезговала и средствами тайного сыска.

К медиевистам факультетская комиссия проявила даже повышенный интерес. Как никак, по свидетельству окончившего университет в 1950 г. А. Х. Горфункеля, кафедра истории средних веков была «одной из сильнейших на тогдашнем истфаке (зато и наиболее гонимой, бывшей на постоянном подозрении у партийного начальства)». ²⁷ Собеседования членов комиссии с вызываемыми поодиночке сотрудниками выливались в унижительный допрос, всячески поощрялись доносы на коллег. Главным объектом начального внимания на сей раз стала доцент А. Д. Люблинская, к которой у комиссии набралось немало самых серьезных претензий. Назревали соответствующие оргвыводы, и уцелела она почти что чудом.

То, что над ней сгустились тучи, не назовешь случайностью. Не приходится забывать, что Александра Дмитриевна и ее муж, один из крупнейших наших знатоков истории средневековой культуры, тоже тесно связанный с университетской кафедрой, Владимир Сергеевич Люблинский, принадлежали к тому слою отечественной интеллигенции, к которому новая власть с первых своих шагов относилась крайне настроженно. Все послереволюционные годы их

положение было шатким. Постоянно напоминало о себе неподходящее социальное происхождение (Александра Дмитриевна была дочерью протоиерея Исаакиевского собора). Образ их мыслей, круг их друзей и знакомых с точки зрения соответствующих органов тоже выглядели подозрительно. В 1927 г. супруги были арестованы, правда, вскоре их выпустили. В 1929 г. В. С. Люблинский провел почти два месяца в тюрьме. Если после войны дела у беспартийной четы Люблинских, казалось, повернулись в лучшую сторону (она и он занимали видные должности в Публичной библиотеке), то прокатившиеся по стране одна за другой идеологические кампании вновь расставили все по своим местам. В 1949 г. В. С. Люблинский был вынужден уйти из библиотеки «по собственному желанию», вслед за тем его уволили из Института им. Е. И. Репина. Он на годы лишился постоянного заработка, и были опасения, что на том беда не закончится. Александру Дмитриевну в том же году тоже выжили из Публичной библиотеки.

Примерно такими же соображениями, что дирекция ГПБ, руководствовалась, очевидно, и истфаковская комиссия по переаттестации. Она меньше всего принимала во внимание профессиональную квалификацию А. Д. Люблинской, которая к тому времени уже успела зарекомендовать себя талантливым педагогом и ученым, заняв среди медиевистов-западников по неписаной табели о рангах место сразу за профессорами О. Л. Вайнштейном и М. А. Гуковским.

Проследить по документальным источникам, как развивался конфликт, нет возможности, да и непосредственные участники этих событий потом неохотно предавались воспоминаниям. Но от О. Л. Вайнштейна и О. Е. Ивановой, тоже прошедших через жернова переаттестации, доводилось слышать следующую историю.

Комиссия, собрав нужные бумаги, опросив ряд сотрудников и побеседовав с самой Александрой Дмитриевной, решила, что ей не место в университете. Был заготовлен проект соответствующего приказа. Однако за нее вступились М. В. Левченко и В. И. Рутенбург, достаточно авторитетные члены партии и уважаемые сотрудники Ленинградского отделения Института истории АН (на истфаке оба работали по совместительству). Насколько известно, в разговоре с членами комиссии они, ничего не оспаривая, дипломатично напирали на то, что Люблинскую нечем заменить, а ее провинности не столь тяжки и она учтет критику. Голос их был услышан, черновик приказа выбросили в корзину.

К слову сказать, А. Д. Люблинская не всегда ладила с Митрофаном Васильевичем Левченко, у нее случались серьезные разногласия и с Виктором Ивановичем Рутенбургом. Но оба они сочли своим долгом прийти на помощь несправедливо обвиняемой коллеге, хотя знали, что, повернись события по-другому, им не избежать больших неприятностей по партийной линии. Как бы то ни было, окончательный текст заключения аттестационной комиссии гласил: «А. Д. Люблинская — один из ведущих сотрудников кафедр истории Средних веков исторического факультета, крупный специалист в области источниковедения Средних веков и вспомогательных исторических дисциплин, а также в области средневековой истории Франции. Как руководитель практических занятий и семинаров пользуется авторитетом среди студентов.

В идейно-политическом отношении Люблинская за последние годы заметно выросла. Она проработала все вышедшие тома сочинений И. В. Сталина и успешно ведет политинформации на двух группах 3 и 4 курсов. Она выступала неоднократно на теоретических конференциях. Очень ценными являются ее методические доклады. Однако уклон в сторону академизма еще не вполне изжит, в связи с чем в высказываниях Люблинской изредка встречаются и ошибки объективистского характера. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне. 1941–1945 гг.». Своей должности соответствует.

Рекомендовать усилить работу над основными методологическими проблемами и принимать более активное участие в общественно-политической жизни факультета.

Председатель аттестационной комиссии Корнатовский
Секретарь Анисимова». ²⁸

В том, что дело закончилось столь нетипично для тех дней, помимо так называемого человеческого фактора роль сыграла, по-видимому, своевременность вмешательства: приказ об увольнении был перехвачен на стадии подготовки, и потому ничего не пришлось формально отменять — достаточно было слегка подредактировать еще не подписанный протокол заседания аттестационной комиссии. А вот за изгнанного из Публички В. С. Люблинского заступится не кто-нибудь, а чуть ли не самый знаменитый из советских историков — академик Е. В. Тарле.²⁹ Тем не менее он ничего не добьется. Изменить уже принятое и оформленное решение, заставить партийно-бюрократическую машину дать зад-

ний ход было не под силу даже трижды лауреату Сталинской премии.

Для остальных членов кафедры проверка прошла сравнительно благополучно. Например, М. А. Гуковскому, «крупному, — как было сказано, — специалисту по истории Италии в эпоху Возрождения», комиссия поставила в вину то, что он «в своих исследовательских работах по этой теме допускал ошибки объективистского характера». Сверх того, «в своих выступлениях недостаточно самокритичен, не обладает достаточно высокой марксистско-ленинской подготовкой». Вывод был не слишком строгим: «Рекомендовать выступить в печати с работами, исправляющими допущенные ошибки, усилить работу по повышению своего идейно-теоретического уровня и быть более самокритичным».³⁰

Даже в отношении публично раскритикованного Осипа Львовича комиссия 21 июня 1949 г. утвердила следующую аттестацию: «Вайнштейн О. Л., 1894 г. рождения, еврей, член ВКП(б) с 1942 г., доктор исторических наук, профессор. Общий стаж педагогической работы — 29 лет.

Вайнштейн О. Л. является крупным специалистом в области истории средних веков. Его научные интересы последних лет лежат, главным образом, в области истории варварских государств, проблем историографии, истории флота и истории взаимоотношений Московской Руси и Западной Европы в 16–17 вв. Имеет 70 печатных работ.

В работах “Историография средних веков” и “Россия и Тридцатилетняя война” допустил ряд ошибок космополитического характера, отмеченных в ряде научных учреждений Москвы и Ленинграда на заседаниях, посвященных борьбе с космополитизмом в исторической науке.

Во время обсуждения его работ проф. Вайнштейн выступил на теоретической конференции исторического факультета и на партийном собрании, посвященных борьбе с космополитизмом, с развернутой самокритикой, признав все свои ошибки и дав обязательство исправить их в ближайший срок. Ученый совет и партийная организация ф-та, приняв во внимание искренность и правильность его самокритического выступления, уверены, что О. Л. Вайнштейн в ближайшее время выступит в печати и исправит допущенные ошибки.

О. Л. Вайнштейн обладает хорошими способностями педагога, четкостью формулировок и ясным, живым языком, пользуется как

лектор большим уважением и в университете, и в других высших учебных заведениях. Как заведующий кафедрой обладает организаторскими способностями и умением правильно расставить педагогические кадры.

По совместительству работает директором Научной библиотеки им. Горького ЛГОЛУ [Ленинградского государственного ордена Ленина университета. — Г. Л., В. Я.]. За самоустранение от контроля за факультетскими библиотеками, в результате чего одна из них оказалась засоренной литературой, подлежащей изъятию, Бюро Ленинградского ГК ВКП(б) объявило проф. Вайнштейну выговор без занесения в личное дело.

О. Л. Вайнштейн выполняет партийные поручения (пропагандист, куратор студенческого научного общества). Имеет правительственные награды: орден “Знак почета”, медали “За оборону Ленинграда”, “За доблестный труд в Великой Отечественной войне. 1941–1945 гг.”. Занимаемой должности соответствует.

[Рекомендовать] подготовить работы, исправляющие допущенные ошибки космополитического характера, и усилить работу по повышению своего идейно-теоретического уровня.

Председатель Аттестационной комиссии, декан исторического факультета проф. Н. А. Корнатовский
Секретарь Комиссии [В. К.] Анисимова.³¹

Не так давно утверждалось нечто совсем иное. «В лице Вайнштейна, — гласила подшитая тут же, в личном деле, характеристика за подписями ректора А. А. Вознесенского и декана В. В. Мавродина, — историческая наука имеет ученого исключительной широты и глубины, настоящего преподавателя “всемирной истории” в полном смысле этого слова, исследователя-мастера и опытного педагога, умело сочетающего научную и учебную работу с работой общественной и административной»³².

Однако летом 1949 г. даже такой аттестации, полученной Матвеем Александровичем или Осипом Львовичем, можно было радоваться. Времена становились все строже. Вовсю раскручивалось так называемое «Ленинградское дело», хотя для политических репрессий хватало и других поводов. О вскоре последовавшем аресте М. А. Гуковского уже упоминалось. Среди пострадавших оказался и новый декан. Н. А. Корнатовского арестовали по вовсе несурзному обвинению — в троцкизме. Ряд сотрудников факультета был уволен. В их число попал Борис Яковлевич Рамм, бывший аспирант

О. Л. Вайнштейна. В 1938 г. он защитил диссертацию «Светские и церковные начала в культуре раннего Средневековья», много лет проработал в высших учебных заведениях, а с сентября 1944 г. стал доцентом кафедры истории средних веков ЛГУ. Опытный лектор и хороший ученый, казалось бы благополучно переживший переаттестацию, он в ноябре 1949 г. был освобожден от занимаемой должности, как гласил приказ по историческому факультету, «в связи с отсутствием педагогических поручений».

На изменения в идейно-политическом климате чутко отреагировали издательства. В числе прочих был рассыпан набор подготовленного медиевистами учебника по истории средних веков для неисторических факультетов.

Дела шли вкось не только на истфаке. Так (если не хуже) было везде. Нарастало напряжение, например, вокруг университетской Библиотеки им. М. Горького, которой по совместительству заведовал О. Л. Вайнштейн. Его заботами Библиотека в предвоенные и послевоенные годы заметно пополнила свои иностранные фонды. Он наладил контакты с оказавшимися после 1939–1940-х годов в пределах Советского Союза университетскими центрами — Львовом и другими, где происходило слияние национализированных мелких библиотек, сопровождаемое изъятием из обращения идеологически подозрительной литературы. Новые власти, походя, списывали в макулатуру или сваливали в подвалы порой даже раритеты, и местные библиотекари были рады спасти от гибели хотя бы часть книг, передав их Ленинградскому университету. Так Вайнштейн приобрел немало бесценных для историка изданий. Теперь, в конце 1940-х годов, Библиотекой им. М. Горького эта практика была свернута.

Зато активизировалось изъятие книг, передача их в Спецхран по постоянно пополнявшимся главлитовским спискам. Главлитом наша цензура не исчерпывалась, за направлением умов зорко следили местные партийные и административные инстанции. Под надзором университетского парткома и факультетских партбюро книжные фонды Библиотеки им. М. Горького и ее факультетских филиалов многократно проверялись и перепроверялись комиссиями разного ранга, готовыми в любом пустяке учуять идеологическую диверсию. Одни люди занимались этим малопочтенным делом с энтузиазмом, другие — подчиняясь необходимости. В таких чистках поневоле участвовали и члены кафедры истории средних веков.

В скором времени и без того прореженные книжные полки в библиотечных хранилищах, куда рядовые читатели, естественно, доступа не имели, приобрели странный вид. Только часть книг стояла как обычно, другая (и немалая их часть) была поставлена боком, корешками вверх. Это означало, что студентам такие книги выдавать нельзя.

Если прежде библиотечная работа увлекала Осипа Львовича, то теперь она приносила ему одни неприятности. К примеру, на экономическом факультете очередные проверяющие наткнулись на старую каталожную карточку, где фигурировало название ленинской работы 1920 г. «О профессиональных союзах, о текущем моменте и об ошибках *тов.* (курсив наш. — Г. Л., В. Я.) Троцкого». Так статья была озаглавлена самим автором, так она воспроизводилась во втором и третьем изданиях сочинений Ленина, тогда как в новом, четвертом, издании ставшее совершенно неуместным применительно к такому злодею словечко «тов.» уже было убрано бдительной редакцией. Хотя ни второе, ни третье издания Ленина Главлитом из обращения не изымались, разразился скандал. Проявившую политическую слепоту библиотекаря немедленно выгнали с «волчьим билетом», а библиотечное руководство во главе с Вайнштейном получило по выговору. В конце концов приказом ректора Осип Львович был с 1 января 1950 г. освобожден от обязанностей директора Библиотеки «по его собственной просьбе».

Неудивительно, что наша местная, университетская и истфаковская, цензура не обошла своим вниманием «Историографию средних веков». На рубеже 50-х годов книгу перестали выдавать студентам. Поскольку «Историография», таким образом, уже не являлась учебником, факультетской библиотеке приказали почти все из имевшихся там в большом числе ее экземпляров сдать в макулатуру. Нельзя и по этому поводу не вспомнить добрым словом многолетнюю заведующую библиотекой истфака Елизавету Николаевну Ковальскую, которая уберегла хотя бы часть книг. Ей по должности не раз приходилось выполнять подобные приказы, списывать и отправлять под нож «вредную литературу», Но нередко, когда никого из посторонних поблизости не было, Елизавета Николаевна списанные книги потихоньку презентовала пользовавшимся ее доверием посетителям. «Историографию средних веков» она тоже пожалела, и благодаря ей добрый десяток, если не больше, обреченных экземпляров разошелся по рукам.

В том же январе 1950 г., когда О. Л. Вайнштейн перестал быть

директором университетской библиотеки — и едва ли такое совпадение случайно — на факультете была произведена структурная реформа: кафедру истории средних веков объединили с кафедрой византиноведения. Митрофана Васильевича Левченко министерство поставило во главе «кафедры истории средних веков и византиноведения», как она теперь официально именовалась (правда, длинное название не привилось, довесок «и византиноведения» скоро отпал, хотя в рамках кафедры специализация по истории Византии сохранилась и сохраняется по сей день). Преобразование было вдвойне выгодно факультетским и более высоким инстанциям. Во-первых, оно позволяло без лишнего шума убрать проштрафившегося Вайнштейна с поста заведующего (но в должности профессора его все-таки пока оставили), во-вторых, под флагом такого слияния у обновленной кафедры отняли несколько преподавательских ставок.

Подобного рода структурные и персональные перемены, как всем известно, несут с собой нервотрепку, кардинальную ломку сложившегося порядка, нередко еще и склоку. Однако с приходом М. В. Левченко ничего похожего на кафедре истории средних веков не произошло. Полагавшиеся по должности речи об укреплении, усилении и т. п. он произносил, но с подчеркнутым уважением относился к кафедральным традициям. Сама по себе, может быть, и малозначительная, но недаром запомнившаяся сотрудникам деталь во взаимоотношениях двух заведующих, бывшего и нового — с первого же объединенного заседания сливаемых структур Митрофан Васильевич не занял председательского кресла во главе стола, под портретом И. М. Гревса, а садился рядом со всеми членами кафедры. Так продолжалось до тех пор, пока Осип Львович однажды не взял его деликатно под локоть и не усадил в пустовавшее кресло.

Стараниями М. В. Левченко и других медиевистов на кафедре поддерживалась доброжелательная, товарищеская атмосфера. Но невозможно было отгородиться от того, что происходило за стенами 46-й аудитории, где издавна располагался кабинет истории средних веков, а там перемен к лучшему не было видно. Начало 1950-х годов в жизни страны ознаменовалось продолжением и даже резким обострением тех отрицательных, трагических по своим последствиям, явлений, совокупность которых потом назовут «культом личности».

Упускать это из виду, с позиций наших дней ригористично оценивая деяния наших медиевистов в первое послевоенное десятилетие, было бы, по меньшей мере, неисторично. Предшественников

наших есть в чем упрекнуть, не всегда и не все из них бывали безгрешны или безукоризненны. Но, должно быть, важнее не столько осуждать их, сколько попытаться понять мотивы и логику их поведения, прежде всего воздавая должное стойкости, гражданскому мужеству тех людей, что устояли в крайне тяжелых, унижительных для человеческого достоинства обстоятельствах. Оглядываясь сейчас назад, на времена борьбы с космополитизмом и прочих идеологических кампаний, скорее поражаешься тому, как у людей еще хватало сил интенсивно вести научную работу, учить студентов, честно выполнять другие свои обязанности.

Медиевисты не просто ради проформы и отчетности участвовали в обсуждениях и конференциях разного уровня, делали свои доклады и писали труды, разрабатывали новые лекционные курсы и совершенствовали старые. За эти, мягко говоря, непростые годы ими был создан ряд заслуживающих памяти, нередко по-настоящему новаторских глубоких исследований, из которых упомянем здесь лишь некоторые.

По-прежнему историографическая и методологическая проблематика занимала большое место в научной и педагогической работе кафедры. Настоячиво пытаюсь осмыслить происходившие в советской исторической науке процессы, наши медиевисты оперативно и темпераментно реагировали на наблюдаемый в ней наплыв низкопробных и конъюнктурных сочинений, иногда откровенно невежественных, а иногда даже выполненных вполне профессионально (и потому особенно вредоносных), типа монографий Б. Ф. Поршнева «Народные восстания перед Фрондой (1623–1648)» (М., 1948) или М. А. Алпатова «Политические идеи французской буржуазной историографии XIX в.» (М., 1949).

Не вина Осипа Львовича и его коллег в том, что их критические соображения по поводу подобных явлений не пошли тогда в печать. Суждения, например, Вайнштейна о книгах Поршнева и Алпатова удастся напечатать — и то в сильно подретушированном виде — только двадцать лет спустя.³³ На рубеже 40–50-х годов никакая редакция не приняла бы рецензию или статью, направленную против авторов, раздувавших антикосмополитскую истерию, тем более, если те были вхожи в высокие партийные кабинеты и обласканы властью (Поршнев как раз за книгу 1948 г. станет лауреатом Сталинской премии, Алпатов займет видное место в советской номенклатуре).

Тем не менее ни О. Л. Вайнштейн, ни А. Д. Люблинская своего

нелицеприятного мнения о подобных вульгаризаторских сочинениях не скрывали, выступая перед университетской аудиторией либо перед учеными Ленинграда и Москвы.

Великолепно знавшая французский материал, на котором базировалась удостоенная Сталинской премии монография Поршнева, и в то же время сама тщательно изучавшая труды К. Маркса и других классиков марксизма-ленинизма, Александра Дмитриевна в своих лекциях, на семинарах, в публичных выступлениях, докладах особенно активно демонстрировала необоснованность и теоретическую несостоятельность поршневских рассуждений. Ею дезавуировались исследовательские приемы лауреата. Тот мог в подтверждение своих выводов уверенно сослаться, к примеру, на единственный в СССР экземпляр французского памфлета XVII в., который, как она обнаружила, побывав в руках якобы читавшего его Б. Ф. Поршнева, так и остался в изначальном, неразрезанном виде.

О. Л. Вайнштейн ставил акцент на историографических и методологических аспектах обсуждаемых проблем. Подчеркивал, что тезис о Фронде как неудавшейся буржуазной революции порожден неправомерной аналогией с идеей Ф. Энгельса о «буржуазной революции № 1» — немецкой Реформации. Решительно отвергал попытку Поршнева вывести всю организацию феодального общества и государства — администрацию, суд, унификацию феодального права, дробление политической власти, феодальные войны, систему вассалитета и феодальную иерархию, городской строй и т. д. — из задач подавления крестьянского антифеодального сопротивления.³⁴

Ленинградские медиевисты и Б. Ф. Поршнев — это сюжет, который, должно быть, заслуживает специального рассмотрения. Здесь напомним лишь, что со стороны А. Д. Люблинской, замеченной в академизме и ошибках объективистского характера, и О. Л. Вайнштейна, заслужившего прочную репутацию космополита, выступления против поршневских концепций были актом высокого гражданского мужества.³⁵ Поршнев в период антикосмополитской кампании чувствовал себя как рыба в воде. Он принадлежал не к гонимым, а к гонителям, и зорко высматривал среди коллег «сторонников меньшевистских взглядов на историю», «буржуазных объективистов» и пр. Е. А. Косминский, С. Д. Сказкин и другие московские ученые, не признававшие поршневских теорий, но хорошо знавшие его самого, не зря соблюдали осторожность и прежде, чем выступить против его теоретических новаций, доволь-

но долго готовили почву в Отделе науки ЦК ВКП(б). Лишь под нажимом со стороны этой высокой инстанции Поршневу в 1953 г. поневоле пришлось признать ошибочность некоторых своих утверждений. Но стиль его работы и потом мало в чем изменится.

Критические выступления А. Д. Люблинской и О. Л. Вайнштейна, можно не сомневаться, не проходили бесследно. Поддерживаемые В. И. Рутенбургом, В. С. Люблинским и некоторыми другими специалистами, они отрезвляющим образом воздействовали хотя бы на какую-то часть историков, в особенности молодых, соблазнившихся, было, теми демагогическими, внешне привлекательными, а по существу мнимыми, решениями сложнейших проблем медиэвистики, какие предлагали Б. Ф. Поршнев и его единомышленники.

Лишенный возможности печатно высказать свое мнение по поводу волновавших его злободневных проблем, Осип Львович в начале 1950-х годов опубликовал лишь пару статей по менее щекотливой тематике: «Роль и значение нашей Родины в истории Западной Европы в средние века» (1950), «Экономические предпосылки борьбы за Балтийское море и внешняя политика России в середине XVII в.» (1951). В них отчетливо ощущалось стремление автора соответствовать тем указаниям, что были получены при прохождении факультетской аттестации. Но и несомненное влияние политической конъюнктуры не мешает увидеть в них черты присущего автору исследовательского профессионализма.

На публикации второй из этих статей оборвется длившаяся без малого два десятилетия деятельность Вайнштейна в Ленинградском университете. Для не посвященных в тайны университетской кадровой политики полной неожиданностью стало его увольнение летом 1951 г. Чтобы не возвращаться потом к данному предмету, кратко остановимся на связанных с этим событиях.

Проект надлежащего приказа по историческому факультету был подготовлен 18 июня 1951 г. Его мотивировка, близкая к той, с помощью которой за два года до того факультет избавился от ставшего неудобным Б. Я. Рамма — «ввиду сокращения работы кафедры и отсутствия поручений на 1951/52 учебный год» — невольно наводила на размышления. Обычно при сокращении нагрузки кого-нибудь из сотрудников кафедры переводили на полставки. А если уж увольнять, то почему именно одного из полутора профессоров (М. А. Гуковского давно арестовали, а М. В. Левченко оставался полуставочником-совместителем)? Вовсе не в духе времени было

выгонять с работы члена партии, оставляя беспартийных преподавателей. Тем не менее факультетская бумага пошла наверх, через неделю ректор А. А. Ильюшин издал свой приказ, а еще через месяц его утвердила Москва, Главное управление университетов Министерства высшего образования СССР.

В связи со всем этим университетское личное дело Осипа Львовича пополнилось еще одной характеристикой. Она по-своему весьма любопытна. Если в факультетском приказе изгнание Вайнштейна было объяснено чисто техническими причинами, то здесь декан В. Г. Брюнин и секретарь партбюро истфака М. Н. Кузьмин про сокращение педагогической нагрузки ничего не писали. Зато давали новое истолкование некоторым недавним административным перемещениям. Вайнштейн, сказано в характеристике, «был освобожден от заведования кафедрой как не обеспечивший развернутой критики своих собственных ошибок и борьбы с космополитизмом в трудах по своей специальности». Уход из библиотеки им. М. Горького представлен так: «Не сумел обеспечить должного порядка в работе библиотеки и был освобожден от занимаемой должности».³⁶

Что потом происходило за кулисами — неизвестно, однако 1 сентября того же года судьба вдруг улыбнулась Осипу Львовичу: Министерство по каким-то своим соображениям вдруг смягчилось и приказало его (уже уволенного!) перевести с 25 августа (задним числом!) «на постоянную работу в Киргизский государственный университет на должность профессора кафедры всеобщей истории»,³⁷ причем место работы Вайнштейн имел возможность выбирать сам из нескольких предложенных ему вариантов. Считая неэтичным идти на живое, кем-то уже занимаемое место, он предпочел г. Фрунзе (нынешний Бишкек), где кафедра всеобщей истории тогда еще только открывалась. По воспоминаниям Е. В. Гутновой видно, что информация о необычном переводе распространилась не только по Ленинграду и, как водится, обросла слухами. Перечислив А. И. Неусыхина и других уволенных тогда москвичей, мемуаристка добавляет: «Другие “космополиты” пострадали больше. Известный ленинградский историк О. Л. Вайнштейн, заведующий кафедрой медиэвистики ЛГУ, вынужден был на несколько лет уехать в Ташкент».³⁸

Во Фрунзе Осип Львович продолжил преподавание, помогал растить национальные кадры медиэвистов. Своему тамошнему аспиранту А. А. Арзыматову он дал тему «Русско-шведские отно-

шения в период Тридцатилетней войны 1618–1648 гг. (по русским архивным материалам)», надеясь, что тому удастся показать конъюнктурность поршневской трактовки европейской политики XVII в. (диссертация Арзыматова будет защищена в 1954 г.). По меркам тех лет, дела его шли более или менее терпимо, если бы не то, что Парткомиссия Ленинградского обкома ВКП(б), в те дни чуть ли не гуртом очищавшая партийные ряды от лиц, на ее взгляд, как-то причастных к Ленинградскому и другим «делам», добралась и до него. О. Л. Вайнштейн был исключен из партии. В его университетском личном деле это трагически им воспринятое событие отражено только косвенно: подшит его запрос о посылке в Парткомиссию заполненной им в 1949 г. анкеты.³⁹

С началом хрущевской «оттепели» Осип Львович возвратится в Ленинград, будет восстановлен в партии. Но на истфак ЛГУ не вернется, хотя тогда и потом, вплоть до конца своих дней, будет поддерживать с его медиевистами самые лучшие взаимоотношения.

Что касается других сотрудников к тому времени заметно поредевшей кафедры истории средних веков, то М. В. Левченко по-прежнему занимался вопросами отечественной и зарубежной историографии, отдавая много сил возрожденному «Византийскому временнику». Свое внимание он в это время сосредоточил на изучении политических и культурных контактов между Византией и Русью. Успешной разработке темы способствовали тесные научные контакты, которые установились у него с М. К. Каргером, Д. С. Лихачевым и другими специалистами, работавшими в близких к византиноведению разделах науки. Митрофаном Васильевичем был опубликован цикл статей, на основе которого выросла большая монография «Очерки по истории русско-византийских отношений» (опубликована посмертно, в 1956 г.).

После ареста М. А. Гуковского итальянисту на кафедре представлял один В. И. Рутенбург. Его кандидатская диссертация «Очерки из истории раннего капитализма в Италии: Флорентийские компании XIV в.» (Л., 1951) была построена на обширном, отчасти впервые вводимом в научный оборот материале источников. Скрупулезный анализ торговых и прочих операций флорентийских банкиров послужил автору опорой для того, чтобы вникнуть в существо принципиального вопроса о степени зрелости раннекапиталистических элементов в Италии эпохи Ренессанса. Выводы Виктора Ивановича были поддержаны многими специалистами, но нашлись и решительные противники. Острая полемика дала стимул

к углубленной разработке этой сложнейшей проблемы, до настоящего времени не утратившей своей актуальности.

В те же годы успешно разворачивала свои исследования по социальной истории феодальной Англии Валентина Владимировна Штокмар. Ею был разработан ряд новых курсов для историков и филологов. За опубликованными в «Ученых записках» ЛГУ статьями «Письма королевы Елизаветы как источник для истории английского абсолютизма» (1950) и «Кровавое законодательство Тюдоров» (1951) последовала монография «Очерки по истории Англии XVI века» (Л., Издательство ЛГУ, 1957), подытожившая ее наблюдения над тюдоровской эпохой. Два года спустя в Учпедгизе вышли «Очерки истории Англии: Средние века и новое время», где Валентине Владимировне принадлежали основные главы о средневековой Британии (М., 1959).

Ольга Ефимовна Иванова, вплотную занявшись аграрной историей Речи Посполитой и опубликовав ряд статей, предприняла смелую попытку под марксистским углом зрения проанализировать социально-экономические процессы, протекавшие в феодальной Польше. Написанные ею разделы первого тома коллективной монографии «История Польши», выпущенной Институтом славяноведения АН СССР (М., 1954, переиздание — 1956), по праву привлекли к себе внимание. Ольга Ефимовна приняла также деятельное участие в подготовке «Очерков истории южных и западных славян» (Л., Учпедгиз, 1957), одного из первых советских учебных пособий по этой дисциплине.

В эти же годы в науку приходят медиевисты нового, послевоенного поколения. Не перечисляя всех имен, отметим хотя бы два из них. Осенью 1953 г. кандидатскую диссертацию на тему «Аграрные отношения в Чехии и Моравии с середины XV до начала XVII в. (К вопросу о социально-экономических предпосылках Белой Горы)» с блеском защитил Валентин Михайлович Алексеев, аспирант О. Л. Вайнштейна (после его увольнения руководителем Алексеева стала А. Д. Люблинская). Год спустя, в 1954 г., состоялась защита диссертации Ирины Ивановны Фроловой (Синкиной) на тему «Критика буржуазной историографии XIX в. по истории французского крестьянства при феодализме» (научный руководитель тоже А. Д. Люблинская).

Требования, предъявляемые к докторским диссертациям, по сравнению с предвоенными и военными годами заметно возросли. Должно быть, именно по этой причине подобные защиты со-

ветских медиевистов во второй половине 40-х — начале 50-х годов можно пересчитать по пальцам. Из них только одна принадлежала сотруднику нашей кафедры. Но эта защита, состоявшаяся весной 1951 г., — докторской диссертации Александры Дмитриевны Люблинской «Социально-экономические отношения и политическая борьба во Франции в 1610–1620 годах» — стала, без преувеличения, событием в жизни отечественной науки.

Оппоненты — В. В. Бирюкович, О. Л. Вайнштейн, И. И. Любименко, Е. В. Тарле — единодушно отметили высокий уровень исследования, основанного на кропотливом анализе обширного фонда впервые вводимых в научный оборот рукописных источников. Тарле в своем отзыве подчеркнул источниковедческое мастерство диссертанта, в целом назвав работу «выдающимся трудом в советской историографии». ⁴⁰ В. В. Бирюкович в своем отзыве особо выделил раздел, посвященный так называемому дворянству мантии — социальному слою, причисляемому Б. Ф. Поршневым и некоторыми другими учеными к буржуазии, тогда как диссертантом было убедительно показано, что «люди мантии» представляли «лишь фракцию феодального класса». По ряду вопросов развернулась и острая дискуссия, были отмечены уязвимые места исследования.

Восторженные эпитеты в данном случае отнюдь не были данью привычному ритуалу. Фундаментальная монография прочно вошла в европейскую литературу вопроса. С неизбежными авторскими коррективами — некоторыми поправками, сокращениями и добавлениями — в 1959 г. она была опубликована Издательством Ленинградского университета под названием «Франция в начале XVII века (1610–1620 гг.)». Как заключают современные историографы, «диссертация А. Д. Люблинской, по-видимому, действительно была лучшей исследовательской работой о Франции того времени». ⁴¹

Не вдаваясь в перечисление всех появившихся тогда печатных трудов, научных конференций, проходивших с участием кафедры, и пр., несколько более подробно остановимся на деятельности А. Д. Люблинской. Диктуется это прежде всего научным весом ее исследований, но и не только. Александра Дмитриевна, вопреки всем невзгодам на протяжении первого послевоенного десятилетия, постепенно приобретала репутацию, можно сказать, неформального лидера ленинградских медиевистов-западников. С 1946 г. доцент, с конца 1953 г. профессор, она не носила высоких званий и не занимала больших постов, отнюдь не пользовалась покровительством

партийно-государственных сфер. Лишь талант, преданность делу и целеустремленность в работе вывели ее в первые ряды советских историков. Не менее важно и то, что в ее исследованиях и педагогической работе — при всем их своеобразии, даже неповторимости — с максимальной рельефностью и полнотой обнаруживают себя многие из тенденций, характерных для тогдашнего состояния нашей исторической науки. В ее многогранной деятельности по-своему и ярко проявили себя типичные, как сильные, так и слабые, черты той эпохи.

Параллельно с подготовкой докторской диссертации Александра Дмитриевна собирала материал для другой фундаментальной работы — учебного пособия по источниковедению Средневековья. Верная ученица О. А. Добиаш-Рождественской, она шла здесь по ее стопам. Но вместе с тем завершенное на рубеже 40–50-х годов «Источниковедение истории средних веков» коренным образом отличалось от очерка Ольги Антоновны (подробнее см. очерк «Первое десятилетие»). А. Д. Люблинская принадлежала уже к иному поколению медиевистов (и не только по году рождения), которое было готово с новых позиций подойти к осмыслению многовекового культурно-исторического процесса. Готовность питалась отчасти действительными успехами советской историографии, отчасти — внушаемым на каждом шагу представлением о всеилии марксистско-ленинской методологии, позволяющей справиться с любой задачей.

Было понятно, что в рамках такого осмысления не обойтись без обобщающего труда по источниковедению. Но даже оптимистов отпугивала чрезмерная трудность и заведомая неблагоприятность предприятия: при всем старании тут невозможно было избежать спорных решений тех или иных вопросов и, следовательно, критики, которая в те годы очень легко перерастала в погром. Должно быть, не случайно, что за реализацию проекта взялась именно А. Д. Люблинская. У нее за плечами были практика работы с рукописями Публичной библиотеки, многолетний опыт чтения лекционного курса по источниковедению в Ленинградском институте философии, литературы и истории, а затем в университете. Многие из ее статей были посвящены источниковедческой тематике.

Тем не менее очень скоро Александра Дмитриевна убедилась, что работа еще труднее, чем она предполагала. Сложностей добавляло и Министерство высшего образования, без одобрения которо-

го учебному пособию была закрыта дорога в печать. Оно поставило условием, что объем книги не должен превышать установленного лимита, и одновременно требовало охватить в «Источниковедении» все регионы Европы, включая Византию, славянские и балканские страны.

Автору пришлось пожертвовать рядом запланированных ранее разделов. Так, с явным сожалением теперь в предисловии объяснялось, что «включение в курс источниковедения произведений художественной и научной литературы Средневековья в целом не представляется возможным, так как это чрезмерно увеличило бы его объем». Включены были лишь эпос, народные песни и сказания — автор тут прикрылся не очень вразумительной, но производящей впечатление мотивировкой: их изучение «помогает понять историю народных масс эпохи феодализма».⁴² О византийских манускриптах, слишком своеобразных и меньше всего ей знакомых, Александра Дмитриевна сама не стала писать, главы о Византии были поручены Евгении Эдуардовне Гранстрем. Что касается прочих европейских регионов, до Скандинавии и Балкан включительно, то Люблинская положила на свои знания и на литературу, понимая вместе с тем необходимость регулярных обращений к специалистам.

Начиная с первых, черновых, редакций главы будущей книги поочередно поступали «в обкатку» — их читали коллеги, и автор терпеливо выслушивала все их соображения. Параллельно с этим министерство вместе с издательством ЛГУ привлекли своих рецензентов, которые тоже вносили, как выражался В. И. Рутенбург, «рацпредложения». Далеко не все из вносимых дружеских или официальных рекомендаций бывали приняты: у Александры Дмитриевны имелась собственная, четко ею разработанная концепция, свое представление о структуре труда, о принципах отбора и формах подачи материала. Но дельные советы — исходили ли они от седовласого доктора наук или от начинающего историка — она всегда ценила. По ее словам, ей, например, очень помогли замечания В. М. Алексеева, в те времена аспиранта, и учившейся у нас студентки из Венгрии Веры Бачкай (вскоре она станет видной участницей Венгерской революции 1956 г.).

В консультациях, обсуждениях, спорах по поводу «Источниковедения» участвовали все члены кафедры, ряд сотрудников из других учреждений, и не только ленинградских. Свой отзыв прислал, например, А. И. Неусыхин. Обсуждение рукописи состоялось

в МГУ. В послевоенной кафедральной практике это был, пожалуй, самый масштабный и в конечном итоге удачный случай научного сотрудничества.

В результате обсуждений и согласований с министерством книга в чем-то выиграла, однако были и серьезные потери. Следуя за О. А. Добиаш-Рождественской, А. Д. Люблинская в своих лекциях по источниковедению концентрировала внимание слушателей на том, как «Германия» Тацита, Салическая правда и иные знаменитые памятники входили в научный оборот, как протекали их изучение и публикация, как, наконец, в этом процессе учеными совершенствовались, оттачивались приемы внешней и внутренней критики источника. Как раз всего этого в книге почти не осталось. Читатель находит главным образом информацию об источниковом массиве разных периодов Средневековья и разных стран. О мастерстве исследователей, чьими трудами эта информация была получена, книга говорит чрезвычайно скупо.

Такой подход соответствовал требованиям министерства. Начальственное мнение о том, каким надлежит быть учебному пособию по источниковедению, авторитетно озвучили Е. В. Гутнова и А. П. Каждан: «Работа должна отвечать двум основным требованиям. Во-первых, она должна содержать необходимые сведения о наиболее важных источниках по истории средневековой Европы, показывая их достоинства и недостатки для исторического исследования по тем или иным вопросам. Во-вторых, в книге такого рода должна быть дана научная систематизация источниковедческих данных с позиций марксистско-ленинской исторической науки».⁴³ Поневоле подчиняясь диктату, Александра Дмитриевна все же несколько иначе расставила акценты. Главная цель учебного пособия, по ее словам, заключается «в выяснении закономерности появления и развития тех или иных видов исторических источников в тесной связи с общим ходом развития стран Европы в эпоху феодализма, а также в определении, что именно дает тот или иной источник историку-исследователю».⁴⁴ К основному тексту книги ею были приложены два кратких, но содержательных обзора — «Очерк по истории издания средневековых источников» и «Рукописные источники по истории средних веков в СССР».

Все же важнейшая, по убеждению Александры Дмитриевны, задача курса источниковедения — приобщение студентов к исследовательскому опыту нашей науки, их ознакомление хотя бы с азами

работы источниковеда — в итоге оказалась отодвинутой на задний план. Впрочем, на это можно взглянуть и по-другому, задав себе такой вопрос: а что другое могло получиться в условиях идеологической цензуры конца 1940-х — начала 1950-х годов? Ведь в учебном пособии речь шла бы о победах и поражениях западноевропейских источниковедов, большинство из которых по своей классовой принадлежности и по политическим взглядам нисколько не отвечало советским представлениям о прогрессивном ученом. Неутешительный ответ подсказывают публикации тех лет — книги, статьи, рецензии историографического и источниковедческого характера (вместе с содержащимися в самом «Источниковедении» историографическими экскурсами). Невольно приходит мысль, что вынужденное невнимание автора к таким принципиально важным моментам, как история источниковедческих штудий и развитие источниковедческой техники, в известном смысле пошли книге на пользу, обеспечив ей завидное долголетие.

Преподавательства с министерством и издательством попортили Александре Дмитриевне немало крови. И все же она осталась довольна своей книгой, хотя уже тогда, в середине 1950-х годов, в известной мере отдавала себе отчет в том, что в книге есть слабые места, и понимала, какими причинами это обусловлено. Встретив в иностранной рецензии на «Источниковедение» упрек в том, что его автор отсылает читателей к устарелым публикациям источников, тогда как существуют новые, отвечающие современным требованиям науки издания, она лишь грустно посмеялась над наивностью рецензента, которому не приходила в голову простая мысль: об одних из этих новых изданий в СССР даже не слыхали, а другие все равно было не найти ни в одной из библиотек Ленинграда и Москвы.

Если к претензии иностранца Александра Дмитриевна отнеслась снисходительно, то по поводу поучений со стороны советских медиевистов не скрывала своего раздражения, они не хуже нее должны были бы знать состояние наших книгохранилищ и порядки в них. Так, Е. В. Гутнова и А. П. Каждан сочли возможным упрекнуть книгу в том, что «ссылки даются в основном на издания XIX в., новейшие издания, часто более критичные и научные, указаны не всегда».⁴⁵

Как уже говорилось, А. Д. Люблинская и другие члены кафедры выступали против демагогически ортодоксальных и вместе с тем поверхностных положений, безапелляционно выдаваемых за абсо-

лютную истину, против вульгаризации и опошления марксизма, жонглирования цитатами из сочинений Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Между тем они сами в своих трудах явно злоупотребляли ссылками на авторитет Сталина и других классиков, порой подменяя ими собственную систему доказательств. Все это заставляет на ленинградском материале тех лет коснуться сложного вопроса о восприятии марксистско-ленинской теории советскими медиевистами и о том, какую роль она играла в их научной и педагогической практике.

Вопрос этот представляет не только академический интерес. После долгого и безраздельного господства марксистско-ленинской идеологии, когда под ее маркой объявлялись непогрешимыми даже продиктованные невежеством либо конъюнктурными политическими соображениями теории вроде учения о «революции рабов» и «революции крепостных», последовала по-своему естественная реакция. В перестроечные и постперестроечные времена многие шарахнулись в противоположную крайность, спеша сбросить с парохода современности не только социологические пророчества Карла Маркса, но и, скажем, его далеко не во всем утратившие ценность наблюдения над социально-экономическим движением общества в прошлом.

То, что наши медиевисты в рассматриваемые годы постоянно демонстрировали свою преданность марксизму-ленинизму, не нуждается в долгих доказательствах. Соответствующие декларации, подкрепленные цитированием Сталина и его предшественников, общеизвестны. Такова была строго обязательная практика, и тут как будто не видно поводов для сомнений. Сомнения могут быть другого свойства. Во-первых, насколько преклонение историков перед гением Сталина и прочих классиков было искренним и не присутствовала ли здесь изрядная доля мимикрии? И, во-вторых, к чему в конечном итоге вела эта практика, насколько она сковывала свободную исследовательскую мысль, превращая марксизм в шоры, которые мешали шире и свободнее взглянуть на изучаемые процессы?

Предположение о вынужденном, искусственном приспособлении к жестким условиям советской действительности не может не возникнуть применительно, например, к той же А. Д. Люблинской. И до 1949 г. она жила под страхом репрессий. «Теоретическая конференция», переаттестация и другие акции показали нависавшую над ней угрозу с беспощадной ясностью. Кое-как удержавшись на

историческом факультете ЛГУ, она могла быть уверена, что, как и прежде, партбюро не спускает с нее глаз.

Ничего не было бы странного, если бы в таких обстоятельствах она стала прибегать к спасительным цитатам из «Краткого курса» и т. п. Так поступали самые почтенные ученые, например Борис Александрович Романов.⁴⁶ К подобной тактике обращался и Владимир Сергеевич Люблинский, который по свойственному ему скептическому складу ума меньше всего был склонен всерьез воспринимать шумиху, немедленно поднимавшуюся вокруг очередных, сразу объявляемых гениальными сталинских произведений.

Однако есть ли основания думать, что частые реверансы в сторону того же «Краткого курса» либо брошюр Сталина о вопросах языкознания и экономических проблемах социализма в СССР носили у А. Д. Люблинской лишь внешний, декоративный характер? Слишком уж настойчиво она говорила и писала о значении сталинских трудов, вставляя в свой текст цитаты из классиков там, где в этом не было прямой нужды, слишком активно осуждала «идейные ошибки» умерших и здравствующих историков, когда от нее никто этого не требовал. Те же интонации звучали у нее и в неофициальных разговорах. Даже наедине с собой ее мысль сохраняла примерно ту же тональность, свидетельство тому — ее личный экземпляр второго выпуска сборника «Средние века», приобретенный, судя по владельческой помете, в ноябре 1946 г., вскоре после выхода книги из печати, и сохранивший следы внимательного чтения.

Напомним, в этом, первом послевоенном выпуске сборника Е. А. Косминский и ряд его коллег попытались очистить память академика Д. М. Петрушевского от грубых обвинений, каковым ученый подвергался при жизни. В тогдашних условиях сделать это можно было только одним способом — доказав, что Петрушевский не так уж был далек от марксизма и что его научное наследие не противоречит (или хотя бы не сильно противоречит) принятым в советской историографии схемам. Бдительное идеологическое начальство быстро разгадало умысел составителей сборника, и последовал суровый окрик. Сейчас не установить, когда — до или после официального осуждения книги — Александра Дмитриевна читала ее с карандашом в руке. Но отреагировала она на второй выпуск «Средних веков» все в том же духе.

Сделанные ее бисерным почерком пометы на полях статьи В. Ф. Семенова «Восстание Уота Тайлера в исторической литера-

туре и концепция Д. М. Петрушевского» (статьи, по правде говоря, малоудачной, но продиктованной самыми благими намерениями) свидетельствуют о возмущении попыткой как-то затушевать «ярко выраженные, по словам А. Д. Люблинской, антимарксистские взгляды П[етрушевского]». Конечный вердикт таков: «Порочность статьи заключается в том, что, вместо того, чтобы показать, как борьба с марксизмом испортила “Восстание” У[ота] Т[айлера]», в 3-м изд[ании] всеми силами доказывается, что П[етрушевский] боролся с марксизмом вообще, а не на м[атериал]е “Восст[ания] У[ота] Т[айлера]”». Как видим, ни по смыслу, ни по лексике тирада не отличается от стандартных речений той поры, а лукавить здесь у Александры Дмитриевны, как будто, не было причин.

Можно полагать, что в данном отношении ее позиция была, пожалуй, куда более типичной для тогдашней медиевистической среды, чем позиция В. С. Люблинского.

Не первый год историография задается вопросом, как могло случиться, что ученые, в честности, таланте, эрудиции которых нет сомнений, искренне восхищались довольно примитивными, а то и просто взятыми с потолка утверждениями, находя глубокий смысл даже в четвертой главе «Краткого курса». Бесполезно, должно быть, искать универсальное, всеобъемлющее объяснение причин охватившего ученое сообщество массового гипноза и его индивидуальных проявлений. Многое зависело от склада характера этих людей.

Заслуживает внимания (и больше всего, думается, соответствует случаю с А. Д. Люблинской либо В. И. Рутенбургом) подход к вопросу, ставящий акцент на том, как человек, по натуре цельный, не склонный к уклончивым паллиативам и компромиссам, реагировал на дилемму, которую, сознавал он это или нет, ставила перед ним жизнь. Либо он поверит, что в текстах основоположников марксизма-ленинизма (в текстах Сталина в первую очередь) скрыт глубочайший, простым смертным трудно постигаемый смысл, либо осознает себя шарлатаном, который хотя и вынужденно, но выдаст за последнее слово науки те примитивные сочинения, в которых идеи марксизма XIX в. приспособлялись к зигзагам внутренней и внешней политики советских властей. Где-то на уровне подсознания выбрав первый из вариантов и подавив сомнения, ученые — пусть на время — обретали душевное равновесие. Впрочем, разбираться здесь во всех тонкостях надлежит скорее психологу, чем историографу.

Как бы то ни было, Александра Дмитриевна, даже внушив себе, что все действительное — разумно (если употребить здесь гегельянскую формулу), даже в течение какого-то времени воспринимая исторический процесс сквозь призму марксизма в его сталинской интерпретации, тем не менее не утратила ни способности, ни вкуса к научному анализу и синтезу.

Себя она считала марксистом, и бесспорно была им. Усиление всего она штудировала «Капитал», особенно главы о формах земельной ренты, о так называемом первоначальном накоплении. Глубину своих познаний А. Д. Люблинская продемонстрировала, став вместе с В. В. Штокмар слушательницей «Университета марксизма-ленинизма» (занятия на нем вменялись в обязанность преподавателям, в первую очередь беспартийным). С присущей ей в подобных случаях непримиримостью Люблинская вступала в спор со специалистами-политэкономистами о трактовке тех или иных положений Маркса и обычно выходила победительницей.

Об искренности ее увлечения марксизмом выразительно и, по видимому, точно сказано Л. М. Баткиным. Увлечению, напоминает мемуарист, «способствовали огромное обаяние и глубина мысли Маркса, которые известны каждому, кто действительно вчитывался в его труды, а не просто огульно бранит его по нынешней наглой (и, по сути, тоже чисто советской) моде». Высоко ценя данную научную теорию, Александра Дмитриевна в то же время проверяла социологические и политико-экономические абстракции историческими реалиями. За отвлеченными формулировками она умела видеть повседневные взаимоотношения людей далекого прошлого. И возмущалась, когда какой-нибудь автор жертвовал фактами ради красивой схемы или путал, к примеру, русскую испольщину (о которой говорится у Ленина) с испольщиной западноевропейской (роль каковой в процессе проникновения буржуазных отношений в деревню анализировал Маркс).⁴⁷

Сама нередко прибегая к цитатам из классиков, она не терпела, так сказать, многоэтажных построек без прочного конкретно-исторического фундамента, т. е. сооружения целых концепций с помощью нагромождаемых друг на друга цитат и вариаций на их тему. Прежде всего именно по этой причине Александра Дмитриевна презирала работы Б. Ф. Поршнева: как его монографию о народных движениях во Франции XVII в., которая удостоилась Сталинской премии, так и цикл теоретических статей 1948–1950-х годов, посвященных роли борьбы народных масс в развитии феодального

общества и государства. Напечатанное ею по данному поводу не вместило и сотой доли того сарказма, который она обрушивала на голову Поршнева в лекциях и на семинарских занятиях, приводя студентам кричащие примеры беспочвенных авторских спекуляций и недобросовестного истолкования источников. Не меньший гнев вызвали у нее самоуверенные и поверхностные сочинения других авторов, пестрящие фактическими ошибками и концептуальными натяжками.

Критический разбор подобных книг и статей практиковался на ее семинарах и в студенческо-аспирантском научном кружке, которым долгие годы руководила Александра Дмитриевна. Там же она обсуждала краеугольные проблемы социальной истории Средневековья, добиваясь от участников понимания, в чем суть ведущих дискуссий. Думаем, не случайно значительное место при этом отводилось вопросу о механизме формационных сдвигов и его освещению в трудах Маркса, например, ставилась задача уяснить, каково было воздействие государственного долга на процесс первоначального накопления капитала.

В число настоячиво обсуждаемых тем входила проблема феодальной собственности. Любопытно, что в памяти тогдашней студентки такое обсуждение ассоциировалось с наступлением тяжких для факультета времен, с идеологическим прессингом, какой принесли с собой борьба с космополитизмом и прочие кампании конца 1940-х годов. «Стало меньше спецкурсов конкретно-исторического содержания, — вспоминает И. И. Фролова. — Зато [...] очень активно обсуждался вопрос о крестьянской собственности на землю при феодализме (с привлечением высказываний Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина)».⁴⁸ Времена, в самом деле, были скверные, однако партбюро на сей раз не вмешивалось и указаний изучать отношения феодальной собственности не давало. Инициатива целиком принадлежала Александре Дмитриевне, считавшей (полагаем, небезосновательно), что каверзные вопросы, над которыми издавна бились, так до сих пор и не придя к окончательному согласию, поколения правоведов и историков, а именно разграничение собственности и держания в Средневековье, разделение права собственности по ступеням феодальной иерархии, принципиально важны для медиевиста.

Почему занятия такой насыщенной латинской терминологией, специфической материей могли запомниться как производное от идеологического прессинга? Привкус последнего, очевидно, давал

о себе знать на каждом шагу, везде, в том числе на семинаре по феодальной собственности. Нормальное, если можно так выразиться, чтение и анализ фрагментов из средневековых сочинений порой уступали место толкованию высказываний, имевших хотя бы отдаленное отношение к предмету, из трудов классиков марксизма-ленинизма. В конце концов такие штудии по-своему тоже небесполезны. У Маркса и здесь встречаются будящие мысль соображения. Беда заключалась в том, что жестко установленные правила игры предписывали руководителю семинара и всем его участникам воспринимать слова основоположников марксизма как сакральный текст. Те же доктринальные рамки действовали, само собой разумеется, и вне семинара.

Случай с оценкой семинара по феодальной собственности лишний раз напоминает, насколько может быть условна проводимая — даже ретроспективно — граница между идеями классического марксизма и их советскими модификациями, между тем и другим, с одной стороны, и традиционной медиевистикой — с другой. Филиация идей всегда прослеживается с трудом. Провести же разграничительные линии в научном наследии А. Д. Люблинской, которая сочетала (иногда весьма продуктивно, иногда с немалыми издержками) традиции своих учителей — И. М. Гревса, Л. П. Карсавина, О. А. Добиаш-Рожественской — с марксистскими постулатами старого и нового образца, тем более сложно. Представляется, что и Л. М. Баткин, больше других занимавшийся вопросом об эволюции методологических воззрений Александры Дмитриевны, не избежал упрощений.

Так, резкие возражения А. Д. Люблинской против преувеличения роли внеэкономического принуждения в феодальном обществе он ставит в один ряд с подчеркиванием ею исторической роли личной свободы западноевропейских крестьян, считая, что в этих вопросах исследовательница заметно разошлась с принятой в тогдашней советской науке системой рассуждений. Что касается личной свободы средневековых крестьян, то Александра Дмитриевна, бесспорно, была далека от присущей русским марксистам привычки по неведению либо в пропагандистском азарте отождествлять европейский феодализм с отечественным крепостничеством, знакомым по сочинениям М. Е. Салтыкова-Щедрина и других писателей. До абсурда эту линию довел Сталин, открыв «революцию крепостных», якобы ликвидировавшую феодализм. По вызывавшим некоторые сомнения формационным аспектам такого рода

А. Д. Люблинская в 40-х — первой половине 50-х годов, по понятным причинам, предпочитала не высказываться. Однако не устала напоминать своим ученикам о глубоких различиях в аграрном развитии России и Западной Европы, о том, что не годится воображать себе жизнь средневековой французской деревни на манер «Пошехонской старины».

В отношении же роли внеэкономического принуждения Александра Дмитриевна на рубеже 1940–1950-х годов действительно несколько отошла от трактовки вопроса, даваемой Марксом и Энгельсом. Возможно, к этому ее привели собственные размышления. Но, подчеркнем, отхода от общепринятых в советской историографии позиций здесь не было. Не было потому, что наши историки уже приняли к руководству новейшее указание товарища Сталина: «Внеэкономическое принуждение играло роль в деле укрепления экономической власти помещиков-крепостников, однако не оно являлось основой феодализма, а феодальная собственность на землю».⁴⁹

Л. М. Баткин вполне отдает себе отчет в том, что «хотя раздумья Александры Дмитриевны и двигались все-таки в тесном русле готовых политэкономических схем, интеллектуальная ситуация выглядит [...] не так уж просто». И все-таки в его эмоционально окрашенный рассказ о встречах и переписке с нею наряду с убедительными соображениями вторгается тезис, который, на наш взгляд, сильно искажает всю историографическую перспективу. «Не случайно, — утверждает он, — Александра Дмитриевна написала первый русский вузовский специальный учебник по *источниковедению* средних веков. И ее совершенно невозможно представить в роли создателя — неизбежно грубо-идеологического — советского учебника по *медиевистической историографии* (т. е. на месте О. Л. Вайнштейна)».⁵⁰

Эффектное противопоставление построено на песке. Л. М. Баткин, познакомившийся с Александрой Дмитриевной в 1954 г., должно быть, спроецировал свои позднейшие впечатления на те годы, когда создавалось «Источниковедение истории средних веков» (книга, напомним, вышла в 1955 г., но путь рукописи в печать был долг). Тогда же, в послевоенную пору, принципиальных расхождений у А. Д. Люблинской с О. Л. Вайнштейном, насколько мы можем судить, не было заметно.

И вообще, стоит ли демонизировать фигуру Осипа Львовича Вайнштейна? Это он, на протяжении полутора десятилетий

руководя кафедрой, привлекал к работе на ней И. М. Гревса, О. А. Добиаш-Рождественскую, да и саму А. Д. Люблинскую. Глубокую веру в догмы марксизма-ленинизма он сочетал с обширной эрудицией. В отличие от многих коллег-историографов Вайнштейн не только в духе своего времени ругательски ругал труды буржуазных историков, но и внимательно читал их, а на стенах кабинета истории средних веков при нем вплоть до начала антикосмополитской кампании висели портреты Ф. Гизо и Н. Д. Фюстель де Куланжа. Его предвоенная «Историография средних веков» и в той части, которая была посвящена XIX в., по тем временам была отнюдь не плоха.

Л. М. Баткин, конечно, прав: Люблинская не писала учебника по историографии, но с начала 1950-х годов она читала лекции по этому предмету, заменив Вайнштейна, и читала в том же ключе, что ее предшественник. Документально подтвердить это затруднительно, зато есть стенограммы ее публичных выступлений. Есть рецензии тех лет. Можно, впрочем, обойтись без них, достаточно обратиться к тому самому «Источниковедению», которое так категорически противопоставлено Л. М. Баткиным «Историографии» Вайнштейна.

Труд А. Д. Люблинской, до сих пор не имеющий себе равных, содержит ряд историографических экскурсов. Лет через десять с небольшим после выхода книги О. Л. Вайнштейн, с большой похвалой отозвавшись о ней, все же упрекнет Александру Дмитриевну за «смешение задач источниковедческого и историографического анализа повествовательных источников».⁵¹ С упреком согласиться трудно. Но показательно, что сам подход источниковеда к буржуазной историографии у него возражений не вызвал. А подход этот, к сожалению, был стандартен. Автором «Источниковедения» нелепеприятно аттестовались «реакционные историки [...] Фюстель де Куланж и его последователи». Вслед за Е. В. Гутновой был изобличен «австро-американский историк Штейн», который вознамерился «дискредитировать Салическую правду как источник, блестяще подтверждающий основные положения марксизма-ленинизма о роли общины-марки»⁵² и т. п.

Честь и хвала Александре Дмитриевне, которая сумела со временем постепенно выбраться из идеологического тумана... Это удалось не всем. К примеру, О. Л. Вайнштейн до конца своих дней не смог или не захотел расстаться с иллюзиями, и его последняя книга «Очерки развития буржуазной философии и методологии ис-

тории в XIX–XX вв.» (Л., 1979), производит грустное впечатление.

Происходившие начиная с весны—лета 1953 г. важные сдвиги в жизни страны не обошли стороной исторический факультет ЛГУ. Потепление политического климата шло исподволь, но зримо. Кафедра истории средних веков имела случай ясно ощутить это в начале 1955 г., когда со смертью Митрофана Васильевича Левченко остро встал вопрос о том, кто будет его преемником. Деканат и партбюро устраивала кандидатура В. И. Рутенбурга, чье, как принято было выражаться, общественное лицо не было ничем запятнано, однако, загруженный работой в Ленинградском отделении Института истории, Виктор Иванович отказался от предложения возглавить кафедру. Оставалось или назначать А. Д. Люблинскую, беспартийного профессора, анкетные данные которой, равно как и выступления против лауреата Сталинской премии и иные идейно-сомнительные поступки, по-прежнему настораживали часть руководства, или искать заведующего на стороне. Как шли закулисные переговоры на уровне факультета и ректората — неизвестно. Но, повторим еще раз, политические перемены в стране уже чувствовались, и в конце концов заведующей была назначена Александра Дмитриевна.

Вскоре решил и вопрос о том, кто вместо М. В. Левченко обеспечит подготовку студентов по византиноведческой специализации. Чтобы не нарушать учебного процесса, Елену Эммануиловну Липшиц и других почасовиков попросили дополнительно взять на себя чтение ряда дисциплин, аспиранту же Митрофана Васильевича Левченко Г. Л. Курбатову пришлось прервать работу над завершением диссертации. Георгий Львович был переведен в ассистенты и зачислен в штат кафедры. На него возложили ведение практических занятий, а затем и чтение лекционных курсов. Так началась его самостоятельная педагогическая и научная деятельность в стенах университета, которая успешно продлится без малого полвека.

После XX съезда партии политические перемены стали набирать темп. Члены кафедры по-разному выражали свои чувства, но зачитываемый тогда по предприятиям и учреждениям закрытый доклад Н. С. Хрущева потряс всех. Даже Александра Дмитриевна, которая на работе избегала всяких разговоров о политике (а по свидетельству А. Д. Роловой,⁵³ не касалась этой темы и в кругу близких ей людей), изменила своему обыкновению. Весной 1956 г. она чуть ли не каждый день рассказывала на кафедре о наблюдаемых сдвигах. Однажды радостно объявила, что спецхран доживает свои

последние дни. Присутствующие выразили сомнение и, к сожалению, оказались правы. Увидеть крах спецхрана и олицетворяемой им системы ей, как и большинству кафедралов тех лет, было не суждено.

Приобретения и издержки идущего в советской науке процесса, достаточно затянувшегося и осложняемого внутри- и внешнеполитическими обстоятельствами, обнаруживают себя и в печатной продукции кафедры. В качестве выразительной иллюстрации вполне подходит «небольшой роман в письмах», как А. Д. Люблинская обозначила в разговорах свой обмен полемическими репликами с Ф. Я. Полянским на страницах «Вопросов истории».

По поводу появлявшихся в этом журнале в начале 50-х годов статей московского профессора Полянского по социально-экономической тематике⁵⁴ Александра Дмитриевна высказывалась резко отрицательно и на семинарских занятиях, и на заседаниях руководимого ею кафедрального студенческо-аспирантского кружка, однако в печатную полемику вступать даже не пробовала. Но на выход капитального, хотя бы по листажу и по авторским притязаниям, труда Ф. Я. Полянского «Экономическая история зарубежных стран: Эпоха феодализма» (Издательство Московского университета, 1954) она откликнулась развернутой рецензией в «Вопросах истории».⁵⁵ Уже сама по себе публикация подобного критического отклика свидетельствовала о происходивших подвижках в нашей научной периодике. Стоит обратить внимание на датировку. Рецензия увидела свет уже после XX съезда КПСС, в мартовском номере журнала за 1956 г., т. е. спустя год с небольшим после выхода книги. Писалась рецензия, очевидно, в конце 1955 г.

По своей воле или (что более вероятно) по настоянию все-таки соблюдавшей осторожность редколлегия Александра Дмитриевна предварила детальный разбор «Экономической истории» парой комплиментов: «Книга [...] привлекает к себе внимание обширным кругом рассматриваемых вопросов и богатым фактическим материалом», «В книге изложены результаты собственных, хорошо известных медиэвистам исследований автора». Но этими фразами позитивная часть отзыва исчерпывалась. Остальной текст (а рецензия довольно велика — шесть страниц мелким шрифтом) был посвящен всестороннему и нелюбимому анализу сочинения. Рецензент предъявляла серьезные претензии к построению книги, к отбору сообщаемой читателю информации и, главное, к ее истолкованию автором и делаемым на этой основе далекоидущим выводам.

Ф. Я. Полянский вознегодовал. И добился того, что в последнем номере «Вопросов истории» за 1956 г. напечатали его «Письмо в редакцию». ⁵⁶ Там все упреки рецензента были решительно отмечены («соотношение между экономикой и политикой при истолковании экономической истории освещено мной правильно», и т. п.). Будучи, должно быть, уверенным, что за спиной Александры Дмитриевны не стоят ни партийные, ни академические высокие инстанции, автор «Экономической истории» сам перешел в контрнаступление, обвинив ее в грубых идеологических ошибках.

Намеком на то, что замечания А. Д. Люблинской не соответствуют духу XX съезда КПСС, он не ограничился. Было заявлено без обиняков: «Моей книге рецензент противопоставляет крайне архаическую концепцию, унаследованную от буржуазной историографии и далекую от марксизма». Задаваемый Полянским риторический вопрос «Неужели моя критика Допша и Петрушевского считается рецензентом предвзвешенной?» звучал весьма многозначительно. К слову сказать, А. Д. Люблинская не любила работ Д. М. Петрушевского, а по поводу А. Допша сама произносила разоблачительные тирады. Но имена были удобными ярлыками, и обозленный автор «Письма» не преминул ими воспользоваться. Все же допшианства ему показалось мало, и в адрес А. Д. Люблинской, а заодно с ней С. Д. Сказкина и некоторых других советских медиевистов, были добавлены обвинения в приверженности теории «экономического материализма». «Оказывается, — возмущался Полянский, — что феодализм и крепостничество — разные явления [...] барщинная система не характерна даже для классического Средневековья, и ее расцвет в позднее Средневековье был результатом победного шествия “торгового капитализма” и революции цен». ⁵⁷

Еще совсем недавно таких обвинений, прозвучавших со страниц центрального журнала советских историков, было бы более чем достаточно, чтобы привлечь к строгому ответу рецензента и тех сотрудников редакции, которые пропустили в печать антимарксистские выпады. Но времена уже несколько изменились. В № 1 «Вопросов истории» за следующий, 1957 г., слово опять дали А. Д. Люблинской. Интервал между «Письмом в редакцию» и ответной репликой, озаглавленной «О письме Ф. Я. Полянского», ⁵⁸ минимален — значит, редколлегия позаботилась ознакомить своего рецензента с письмом Полянского заранее, еще в рукописи. Реплика, ни на йоту не отступив от положений рецензии, наглядно пока-

зала слабость тех аргументов, к каким прибегал обиженный автор.

Обмен нелицеприятными суждениями не просто столкнул двух ученых, совершенно не похожих друг на друга по характеру, образу мыслей, эрудиции, столкнулись видные представители двух в корне различных научных направлений.

А. Д. Люблинская отнюдь не была синим чулком. Но, импульсивная по натуре, она умела держать себя в руках, даже в пререканиях с весьма несимпатичным ей оппонентом не выходя за рамки академических приличий. И рецензия, и реплика построены в нарочито суховатой манере, ирония если и присутствует, то в самой малой дозе. Непрошенный же собеседник Александры Дмитриевны мало стеснял себя условностями и легко переходил на личности. Он явно терял всякое чувство меры, перечисляя в «Письме» собственные научные достижения, которых, на его взгляд, не понял либо не пожелал увидеть рецензент. В пылу самооправданий многоопытный автор не заметил элементарного противоречия, на какое не преминула указать в своей реплике Люблинская. Упрек в том, что в книге не освещена экономическая история Скандинавии, Испании V–XV вв. и пр., Полянский категорически отвел, поскольку, подчеркивал он, таких тем нет в программе экономических факультетов. И буквально несколькими строками ниже писал: «В то же время книга содержит целые главы по таким темам, которые не представлены в программе (экономическая история Арабского халифата, Польши, Чехии...), и за это надо было меня, пожалуй, похвалить».

Примечательная черта этой полемики, но вовсе не редкая в советской историографии, заключалась в том, что непримиримую, исключавшую всякую толерантность полемику вели ученые, которые стояли на общей, одной и той же идейной платформе. И Люблинская, и Полянский принадлежали к числу марксистов советского образца. Каждый из них не просто декларировал свою верность марксистско-ленинской методологии — он притязал на верное понимание ее сути и охотно выступал в роли толкователя тех или иных высказываний основоположников. «Я, — без ложной скромности утверждал в своем «Письме» автор «Экономической истории», — систематически и последовательно развиваю марксистскую точку зрения на феодализм». В устах А. Д. Люблинской, конечно, трудно представить себе подобную фразу, такую форму выражения мысли, но она основательно штудировала труды классиков и небезуспешно прилагала, например, Марксову теорию так называемого первона-

чального накопления к своим разысканиям по социальной истории Франции начала XVII в. Так что у нее были (по крайней мере, не меньшие, чем у Полянского) основания считать себя знатоком историографического наследия основоположников марксизма-ленинизма.

Оба историка прочно усвоили (не будем гадать, по внутреннему ли убеждению, наученные ли житейским опытом) правило, что в науке надо следовать по пути, указанному великими учителями, строго придерживаясь установок, даваемых свыше. Иерархия классических цитат, конечно, со временем менялась. Заметные изменения в этом смысле принес XX съезд КПСС. Рассматриваемая нами полемика развернулась уже после него, и ее участники, естественно, больше не ссылались на корифея всех времен и народов. Полянский, чья «Экономическая история» была наспигована сталинскими высказываниями, очень оперативно отреагировал на перемены. Отбиваясь от критических замечаний Люблинской, он взывал к решениям съезда: «Казалось бы, сейчас, после XX съезда КПСС, рецензент должен был бы особенно решительно приветствовать элементы новаторства... Почему же этот вопрос не был поставлен при оценке моей книги? Между тем в ней имеется много новых положений, усвоение которых было бы полезно для наших медиевистов и для дела критики буржуазной историографии».⁵⁹

Так что силой обстоятельств оба автора несколько изменили привычный для первой половины 1950-х годов цитатный репертуар. Тем не менее цитаты основоположников по-прежнему оставались мощным, едва ли не самым главным инструментом доказательства своей правоты. Другое дело, что пользовались этим инструментом спорящие стороны неодинаково. Стоит напомнить, что идеологическое начальство тогда строго следило за публикуемыми результатами исследований — выводы должны были служить подтверждением марксистско-ленинских постулатов. В отношении же системы доказательств за автором сохранялась известная свобода выбора. Поэтому здесь многое зависело от уровня профессиональной подготовки, от научной и нравственной (если вообще их можно разделять) позиций ученого. Похоже, корни взаимного неприятия Люблинской и Полянского уходили как раз в эту область.

Оппонент А. Д. Люблинской принадлежал к той школе советских историков, которая, охотно апеллируя к авторитету основоположников, не обращала особого внимания, если позволительно так выразиться, на качество привлекаемого при этом текста. Яркий

тому пример: обнаружив в «Хронологических выписках» пассаж о могуществе византийской империи при Македонской династии, Полянский без тени сомнений пишет: «Маркс считал, что [...] при Василии II (976–1025) "... Византия была самой крупной морской державой в Европе"». ⁶⁰ Не слишком оригинальный для второй половины XIX в. тезис оказался записан лично за создателем «Капитала», став его собственным выводом.

Даже в годы сильного увлечения идеями «Краткого курса» Люблинская внушала студентам, что «Хронологические выписки» — лишь конспект прочитанных Карлом Марксом на склоне лет исторических сочинений и смешно воспринимать его иначе. Все же упрекать Полянского за то, что тот приписал Марксу расхожую мысль, она не стала. Может быть, потому, что в рецензии упреков и так было более чем достаточно. Но показательно, что примерно в то же время, в 1955 г., рецензируя изданный под редакцией С. Д. Сказкина и др. второй том университетского учебника по истории средних веков, она среди недостатков книги (в целом ею вполне одобренной) отметила оперирование «Хронологическими выписками» как текстом самого Маркса. По поводу одной из такого рода цитат А. Д. Люблинская, в частности, подчеркнула, что она «представляет собой текст Шлоссера, а не Маркса». ⁶¹

С пиететом воспроизводя созвучную его построениям фразу из сделанного Марксом конспекта чужой работы, Ф. Я. Полянский вместе с тем использовал наследие классиков марксизма-ленинизма избирательно. Другими словами, просто умалчивал о тех их соображениях, которые шли вразрез с его концепцией. Так, поскольку в характеристике позднефеодальной Германии у него доминирует мысль об экономической отсталости страны и ее упадке в XVI в., то слова Энгельса об экономическом превосходстве Германии в начале XVI в. будут им проигнорированы. Поскольку через «Экономическую историю» красной нитью проходит тезис о неуклонном усилении феодальной эксплуатации деревни, замечанию Маркса о XV веке как «золотом» для крестьянства не найдется места ни в книге, ни в «Письме в редакцию».

А. Д. Люблинская такого подхода не понимала. В работе с любыми памятниками, в том числе творениями классиков марксизма, она стремилась следовать заповеди, усвоенной от своих наставников, ученых старой закалки: историк обязан привлекать все доступные ему материалы, которые имеют отношение к рассматриваемому вопросу. В рецензии и реплике ею с неодобрением указано

на ряд случаев, когда ее оппонент обошел молчанием те, иной раз хрестоматийные, изречения основоположников, которые не отвечали представлениям Полянского о феодализме.

Возможно, здесь Александра Дмитриевна была не совсем права. Если бы речь шла о выяснении, об оценке взглядов, допустим, Фридриха Энгельса на состояние Германии перед Реформацией, тут историк, кто спорит, был просто обязан привлечь весь корпус материалов. Другое дело, когда, к примеру, дискуссионный вопрос об экономическом положении той же Германии решался с помощью предъявления «козырных» цитат. И в этом случае манипулирование классическими изречениями оставалось, конечно же, занятием малопочтенным, но в советских условиях нередко вынужденным. К такому средству прибегали ученые с безукоризненной репутацией. Сама система толкала на подобные манипуляции, заставляя выискивать и тенденциозно подбирать явно случайные изречения Энгельса или Ленина, потому что только таким способом историк мог провести в печать свои недостаточно ортодоксальные идеи, которые без цитатного прикрытия не прошли бы цензуру.

Однако подобного рода, можно сказать, благородное жульничество едва ли имело место в писаниях Ф. Я. Полянского. В очередной раз проявляет себя коренное различие между двумя марксистами-историками, принадлежавшими к разным направлениям в нашей науке. А. Д. Люблинская, принимая утвердившиеся в нашей науке порядки, могла сослаться на Энгельса и считать, что тем самым доказала неправоту Полянского. Могла поставить тому в вину непонимание мысли Маркса либо забвение таких-то его слов. Вывод получался обидный для автора рецензируемой книги, но он не нес в себе обвинения в ереси. Полянский же строил свой ответ рецензенту на обвинениях в идеологических грехах. К ситуации и действующим лицам рассматриваемой нами полемики Ф. Я. Полянского с А. Д. Люблинской 1956–1957 гг. вполне приложима известная формула, берущая начало не то у Фридриха Энгельса, не то у Ипполита Тэна: типичные характеры в типичных обстоятельствах.

Та линия, которую в споре с Полянским с таким блеском представляла Александра Дмитриевна, нашла свое выражение и в ее исследованиях, и в исследованиях ее коллег.

В заключение очерка кратко остановимся на вопросе, который в жизни кафедры всегда стоял на первом месте, — на работе с подрастающими поколениями. Какие бы драматические моменты не приходилось переживать медиевистам, предметом их первоочеред-

ных забот оставались лекции, практические занятия, другие формы педагогической деятельности. Свидетельством небезуспешности этой работы может служить хотя бы тот факт, что многие из выпускников тех лет сумели достойно проявить себя в науке. Самым сильным за всю послевоенную историю кафедры по праву считается выпуск 1950 г. Тогда дипломы получили Валентин Михайлович Алексеев, Александр Хаимович Горфункель, Александр Николаевич Немилев, Владимир Ильич Райцес — будущие видные исследователи, чьи труды получают заслуженное признание не только в нашей стране.

На постановку преподавания кафедра всегда обращала самое пристальное внимание. Разрабатывались новые курсы, совершенствовались и корректировались старые. Так, значительные переделки в свое время потребовались в связи с тем, что в Москве наконец осознали нелепость причисления Монтескье или Вольтера к разряду средневековых писателей, и верхняя грань периода феодализма (Средневековья) была передвинута с Великой французской революции на революцию Английскую.

Методика преподавания, ее соответствие современному состоянию науки и запросам времени, охват и освещение в лекциях дискуссионных проблем — все это служило предметом частых обсуждений. Как и во всем остальном, непременно требуемые формальные отклики на очередную идеологическую кампанию, на выход нового гениального труда товарища Сталина здесь переплетались с подлинной заботой об уровне подготовки специалистов. При этом формы помощи и контроля применялись разные. В частности, наряду с регулярным посещением занятий заведующим поощрялось взаимопосещение сотрудников. Облегчало эту практику то обстоятельство, что кабинет истории средних веков, где чаще всего и проводились занятия с группами медиевистов, тогда еще не был разделен перегородкой. Ту его половину, где шли занятия, от остального пространства отделяли только книжные шкафы, и сотрудники могли слушать лектора, не отвлекая на себя внимание студентов.

Предметом особых забот был общий курс истории средних веков, который слушали все студенты-историки. По возвращении истфака в Ленинград первую его часть читал О. Л. Вайнштейн, вторую — М. А. Гуковский. В силу причин, о которых мы говорили выше, эти обязанности затем переходили к другим членам кафедры. Попробовали вести курс коллективными усилиями, а потом он целиком перешел к А. Д. Люблинской. С появлением на факуль-

тете вечернего отделения чтение курса вечерникам взяла на себя В. В. Штокмар.

Уцелели некоторые стенограммы или записи лекций, другие материалы, связанные с педагогической работой кафедры. Но их мало, и они не всегда информативны. Так, отзывы в специально ведущейся тетради взаимопосещений почти всегда писались по трафарету, с оглядкой на посторонних читателей, а разговор по существу дела шел (если шел) без официальной фиксации. Студенческие записи лекций заведомо неполны и позволяют судить не столько о лекторе, сколько о слушателе. Состояние учебной и воспитательной работы, как все знают, вообще плохо поддается документированию. Представления о нем хранятся по большей части в памяти современников.

В этом отношении больше всего повезло Александре Дмитриевне. О том, каким она была педагогом, подробно и ярко рассказано в посвященном памяти А. Д. и В. С. Люблинских сборнике «Западноевропейская культура в рукописях и книгах РНБ», который не раз цитировался выше. То, что именно об Александре Дмитриевне как о педагоге и наставнице чаще всего вспоминают послевоенные выпускники, — вполне естественно. Созданная ею «школа Люблинской», бесспорно, в 50-х годах делала погоду на кафедре. К ранее опубликованным воспоминаниям добавим несколько слов от себя.

С Люблинской-лектором так или иначе соприкоснулись очень многие из ленинградских (и не только ленинградских) историков. Общий курс истории средних веков, который она вела с начала 50-х годов, прослушали поколения студентов. Многие из них занимались в ее семинарах, слушали ее специальные курсы. Сверх того, она выступала с лекциями на филфаке ЛГУ, в Институте повышения квалификации учителей, ее неоднократно приглашали для чтения лекций в Латвийский и другие университеты.

Имея дело с большой и тем более со сравнительно малознакомой аудиторией, Александра Дмитриевна предпочитала держаться строгой, порой даже несколько суховатой манеры. Изложение было предельно логичным и четким. Во главу угла ставился анализ рассматриваемых явлений и процессов, а не повествование о них. Одну из бед нашего школьного и университетского образования она видела в упрощенном, вульгаризированном подходе к прошлому. Поэтому в своих лекциях Александра Дмитриевна, как могла, старалась убедить своих слушателей в том, что историку недопу-

стимо, например, механически переносить на западноевропейское Средневековье представления о быте русской деревни, почерпнутые из сочинений Гоголя или Салтыкова-Щедрина. Ей было хорошо известно, насколько въелась в нашу учебную и прочую литературу убежденность в том, что феодализм есть крепостничество, и она не жалела времени на повторение: западноевропейский феодально-зависимый крестьянин и российский крепостной XVIII–XIX вв. — отнюдь не тождественные социальные категории, в странах Запада раннего нового времени основную массу селян составляли лично свободные люди.

Лекции пользовались популярностью. Студенты старших курсов, аспиранты, приезжие преподаватели часто испрашивали у Александры Дмитриевны разрешения послушать лекции и занятия второкурсников. Для многих эти лекции были откровением. Но восторги разделяли, естественно, не все. Какую-то часть студентов (кажется, все же не очень большую) одолевала скука, их манили те предметы, где лекторы артистично живописуют битвы и дворцовые интриги. Не то чтобы она не могла увлечь аудиторию ярким повествованием, рассказчиком Александра Дмитриевна была великолепным и помнила массу поучительных или забавных историй, но она строго их дозировала, не позволяя развлечению стать самоцелью. К лекторам, которые превращали кафедру в театр одного актера, она относилась с неприкрытой иронией и не признавала дешевых эффектов. В то же время умела даже рассуждениям о социально-экономических материях придать образность и яркость. Так, предостерегая от слепой веры в стандартную формулу, касающуюся извечной нищеты и безземелья в феодальной деревне, она приводила пример, повергавший в изумление привыкших к российским меркам слушателей: клочка виноградника размером с обычную нашу комнату — особенно, если он расположен на южном, солнечном склоне — и в XVI, и в XX в. было достаточно для безбедного существования целой французской семьи.

Увлечение ораторскими приемами А. Д. Люблинская считала делом не только ненужным, но порой и не совсем безопасным. Как она сама рассказывала, у нее в этом смысле был свой печальный опыт. Как-то, выступая перед учителями, она развивала мысль о том, что наши представления о замкнутости раннесредневекового общества, о полной натуральности его хозяйства бывают сильно преувеличены. Подробно говорила о существовании достаточно устойчивых торговых и иных связей между, например, регионами

Франции или между Францией и Англией, подчеркнув, что контакты тогда поддерживались преимущественно по рекам и морю: по воде добраться до нужных мест бывало легче, чем по суше. Тому она завершила броской метафорой: «Итак, помните: в средние века пролив Ла-Манш вовсе не отделял Англию от континента!». А после лекции к ней подошла слушательница с недоуменным вопросом: она, мол, и сама слыхала, что в древности Британские острова составляли одно целое с материком, но неужели даже в эпоху Средневековья не существовало Ла-Манша?

По-иному строились занятия в группах медиевистов, численно небольших, где педагог знал, чего можно ожидать от каждого, и где лекция свободно переходила в беседу. Здесь сильнее всего раскрывалось обаяние наставницы, умевшей повернуть неожиданной, так сказать, проблемной стороной самую тривиальную, даже скучную тематику. Как уже упоминалось, университетский учебник «Источниковедение истории средних веков» вырос из лекционного курса, читавшегося А. Д. Люблинской на протяжении ряда лет. Но ошибется тот, кто попробует по этому учебнику судить о ее лекциях. Непохожа стилистика, различен подход к предмету. На свою книгу сама Александра Дмитриевна смотрела скорее как на справочное издание и вовсе не требовала от студентов, чтобы те перед зачетом читали учебник от корки до корки. Ее лекции по источниковедению вовсе не ставили своей целью охватить все европейские страны, речь шла о знаменитых, самых важных для историка памятниках. Зато на их материале слушателей учили приемам источниковедческого анализа, подчеркивая специфику работы с разными видами источников.

Если своих первых учеников, увлеченных палеографией С. А. Маневич и Т. В. Луизову, Александра Дмитриевна обрела еще до войны, то в рассматриваемый период «школа Люблинской» уже бесспорно доминировала. Студенты шли к ней охотно. И не обязательно только те, кого интересовала феодальная Франция или кто, подобно С. О. Вяловой либо Л. И. Киселевой, проявлял способности к палеографическим занятиям, особо поощряемые ею. А. Д. Люблинская вполне профессионально руководила и теми студентами, кто избрал тематику, достаточно далекую от ее научных интересов. Чаще всего так получалось с иностранцами, которых присылали на истфак с заранее утвержденными темами, обычно — из истории своей собственной страны. Однажды А. Д. Люблинской довелось руководить даже студенческой работой по истории Китая

(переросшей затем в выполненную под ее же началом и успешно защищенную кандидатскую диссертацию).

Еще больше было тех, кто, занимаясь у других преподавателей, обращался к ней за советом и помощью и потом с гордостью причислял себя к ученикам Люблинской. Наглядным примером может послужить уже упомянутый выпуск медиевистов 1950 г.: из той четверки юношей у А. Д. Люблинской специализировался один Владимир Райцес, остальные работали под руководством других преподавателей, что ничуть не мешало им прибегать к ее совету при выборе темы, руководствоваться ее указаниями по ходу работы, короче — ощущать себя ее учениками. Не напрасно Александр Горфункель поныне утверждает, что именно под влиянием Александры Дмитриевны он сформировался как историк. Такая ситуация повторялась и в другие годы, с другими студентами, не только медиевистами и не только ленинградцами. «Законные», если можно так выразиться, научные руководители воспринимали эту практику по-разному. Кто поощрял кооперацию, подобно Л. П. Калущкой, которая направила к Александре Дмитриевне юного харьковчанина Л. М. Баткина,⁶² а кто — ревновал.

Нельзя не сказать о том, что следовавшая лучшим университетским традициям, А. Д. Люблинская была замечательным научным руководителем и консультантом, да и просто собеседником. Обладая помимо знаний недюжинной интуицией, она могла уловить заслуживающую внимания, перспективную мысль в самых первых, черновых набросках. Выслушав сбивчивое изложение студенческого замысла, могла тут же оценить, чего тот стоит, и даже сымпровизировать целую концепцию, сразу придававшую замыслу нежданный блеск. Импровизация не всегда оказывалась жизнеспособной. Бывало, спустя неделю-две студент (или аспирант) с торжеством сообщал приятелям, что им доказана ошибочность высказанной Александрой Дмитриевной догадки. Только не каждый при этом сознавал, насколько он обязан наставнице, которая своей экстравагантной идеей подтолкнула, спровоцировала его на поиск собственного решения проблемы.

Поощряя поиск студентами нетривиальных решений, самостоятельного развития темы, Александра Дмитриевна в то же время требовала от своих учеников четкого и логичного изложения мыслей. Беспощадно и терпеливо правила представленный текст, от которого в итоге иной раз мало что оставалось. В разных версиях ходил вполне правдоподобный рассказ о том, как, увлекшись

правкой студенческого сочинения, А. Д. Люблинская не заметила, что автор вставил в него раскавыченную большую цитату из Фридриха Энгельса, и в корне переделала весь этот сакральный текст, исправив слог и прояснив смысл.

Трудно сказать, что было тому причиной — внушенная самой себе, хотя бы на время, вера в разумность проводимых в стране идеологических кампаний либо горький опыт, но факт остается фактом: Александра Дмитриевна порой поощряла у своих учеников конформизм. Ей случалось расхвалить историографическую диссертацию аспирантки, которая пришла к не слишком аргументированному, но зато созвучному официальной точке зрения начала 1950-х годов выводу: «После Парижской коммуны начинается откровенно фальсификаторский период в развитии буржуазной исторической науки». Случалось поддерживать другую свою аспирантку, которая борьбу России в XVII в. за Прибалтику, за отнятую в конце концов у шведов Ригу, пыталась подать в том же ключе, что и воссоединение Украины с Россией, шумно отмечавшееся тогда (в 1954 г.). При обсуждении диссертации на кафедре А. Д. Люблинская вступила в спор с В. И. Рутенбургом, он упорно ставил под сомнение правомочность красивой формулы: «воссоединение Риги».

Такие эпизоды очень характерны для университетской практики тех лет. Одновременно они еще раз подтверждают, что преклонение выдающихся ученых перед цитатами из произведений классиков марксизма-ленинизма или указаниями партийной печати держалось не на одном только страхе. Даже в потеплевшем идеологическом климате самостоятельная мысль не сразу и не без труда высвобождалась из-под груза догм. Наверное, следует считаться и с тем, что высвобождение не могло не порождать ощущения дискомфорта, осознаваемого или нет, ведь прежде бремя доказательств как бы перекладывалось историком — частично или полностью — на чужие плечи.

В то же время А. Д. Люблинская высоко ценила стремление людей самостоятельно, не полагаясь на авторитеты, разобраться в сущности дела и, как могла, поощряла такое стремление. Осторожно, но недвусмысленно она поддержала Сергея Шульца. Недавно ушедший из жизни профессор-геолог С. С. Шульц в начале 50-х годов учился на историческом факультете и специализировался по кафедре истории средних веков. Получив на просеминаре по истории СССР для доклада тему об идейном разброде среди интеллигенции после революции 1905 г., он не ограничился, как было при-

нято, пересказом двух-трех написанных в духе «Краткого курса» брошюр, а обратился в деканат с заявлением. Студент хотел, чтобы ему разрешили ознакомиться в библиотеке с произведениями Д. Мережковского, З. Гиппиус и других весьма неодобряемых тогда писателей. Заявление вызвало скандал. В партбюро сочли, что поступок студента свидетельствует о серьезных недостатках в воспитательной работе на кафедре. Александра Дмитриевна и потом старалась защитить самостоятельно мыслящего юношу от комсомольских проработок и сильно сожалела, когда Шульц, которого допекли проработки, ушел на геологический факультет.

Для А. Д. Люблинской (и, пожалуй, для большинства членов кафедры) очень характерно, что большие надежды возлагались на Геннадия Дмитриева, в те же 50-е годы под ее руководством увлеченно и толково занимавшегося Иерусалимскими ассизами. В упрямом до предела, вообще трудном в общении молодом человеке Александра Дмитриевна ценила преданность науке, трудолюбие, талант исследователя. Он неизменно много читал, имел собственное суждение по поводу сложнейших исторических проблем. Однако с так называемыми общественными дисциплинами у него отношения не складывались. Потому в один из семестров он лишился стипендии. Для него это было катастрофой, семья Гены и так еле сводила концы с концами. Александра Дмитриевна, понимая это, установила на кафедре ежемесячный побор в его пользу и основное бремя возложила на себя. Не все из членов кафедры одобрили идею, имея свои претензии к строптивому студенту, но Люблинская настояла на своем. К несчастью, судьба (вкуче с так называемыми органами) не позволила Дмитриеву реализовать себя в науке. Умер он рано, успев напечатать лишь несколько превосходных, многообещающих статей.

Но вернемся к общекафедральным делам.

Начало 1960 г. ознаменовалось значительными кадровыми изменениями. Тогда в высших учебных заведениях было строго запрещено совместительство. А. Д. Люблинской, которая с 1957 г. совмещала заведование кафедрой с работой в Ленинградском отделении Института истории АН СССР, и В. И. Рутенбургу, давно там работавшему, пришлось выбирать между университетом и ЛОИИ. Оба сделали выбор в пользу академического института. Заведующим кафедрой стал М. А. Гуковский, из Эрмитажа на истфак перешел А. Н. Немиллов. Борьба с совместительством и ее результаты, стоит отметить, несколько не отразились на взаимоотношениях истори-

ческого факультета ЛГУ с академическими учреждениями. Александра Дмитриевна и Виктор Иванович часто бывали на истфаке, а сотрудники кафедры чувствовали себя в Институте истории как дома. В научно-исследовательской и педагогической работе медиэвистов ЛГУ в итоге этих персональных перемещений заметно возросло внимание к ренессансной культуре Италии и Германии, и в целом акценты заметно сместились в сторону культурологии.

Ни по характеру, ни по последствиям все эти события не сопоставимы с потрясениями, пережитыми кафедрой, как и всей страной, в середине 1950-х годов. Их незачем и сравнивать. Тем не менее для небольшого, по-прежнему насчитывавшего всего пяток сотрудников кафедрального коллектива перемены были весьма опутимыми. Не забывая об условности любых периодизационных схем, думается, можно с достаточными основаниями датировать рубежом 1950–1960-х годов начало нового этапа в жизни кафедры истории средних веков ЛГУ, которая (о чем тоже не годится забывать) незадолго перед тем отметила знаменательный юбилей — четверть века своего существования.

¹ Гуковский М. А. Итальянское Возрождение. 2-е изд. Л., 1990. С. 10, 12.

² Вайнштейн О. Л. Россия и Тридцатилетняя война 1618–1648 гг.: Очерки из истории внешней политики Московского государства в первой половине XVII в. [В.м.], 1947. С. 7.

³ См.: Там же. С. 5.

⁴ Поршнев Б. Ф. [Рец.] Вайнштейн О. Л. Россия и Тридцатилетняя война. . . // Советская книга. 1948. №8. С. 62.

⁵ Очерки истории исторической науки в СССР. Т. 5. М., 1985. С. 12.

⁶ См.: Центральный государственный исторический архив (ЦГИА). Ф. 7240. Оп. 14. Д. 1637. Л. 1–40.

⁷ Там же. Л. 71–73.

⁸ См.: Панелят В. М. Творчество и судьба историка: Борис Александрович Романов. СПб., 2000.

⁹ Там же. С. 335–336.

¹⁰ Центральный государственный исторический архив историко-политических документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб). Ф. 984. Оп. 3. Д. 99. Л. 32–51.

¹¹ Вайнштейн О. Л. Историография средних веков. М.; Л., 1940. С. 324–325.

¹² Вайнштейн О. Л. Россия и Тридцатилетняя война. . . С. 4.

¹³ См., напр.: Вайнштейн О. Л. 1) Историография. . . С. 320–322; 2) Очерки развития буржуазной философии и методологии истории в XIX–XX вв. Л., 1979. С. 35.

¹⁴ Вайнштейн О. Л. Историография. . . С. 299.

¹⁵ Гутнова Е. В. Историография истории средних веков. 2-е изд. М., 1985. С. 285.

- ¹⁶ Гутнова Е. В., Асиновская С. А. Грановский как историк // Грановский Т. Н. Лекции по истории Средневековья. М., 1986. С. 341.
- ¹⁷ Косминский Е. А. Проблемы английского феодализма и историографии средних веков. М., 1963. С. 427.
- ¹⁸ Гутнова Е. В. Историография. . . С. 288.
- ¹⁹ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. Т. III. М., 1947. С. 353.
- ²⁰ Вайнштейн О. Л. История советской медиевистики: 1917–1966. Л., 1968. С. 349.
- ²¹ Вайнштейн О. Л. Историография. . . С. 293.
- ²² ЦГАИПД. Ф. 984. Оп. 3. Д. 99. Л. 126–134.
- ²³ Там же. Л. 161–165.
- ²⁴ ЦГИА. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 1637. Л. 10106.
- ²⁵ Панелят В. М. Творчество и судьба историка. С. 335.
- ²⁶ ЦГАИПД СПб. Ф. 984. Оп. 3. Д. 99. Л. 126–134.
- ²⁷ Горфункель А. Х. Сочинение на запретную тему // Санкт-Петербургский университет. 1996. № 7. С. 17.
- ²⁸ Объединенный архив СПбГУ (ОА СПбГУ). Д. 602. Л. 43.
- ²⁹ См.: Каганович Б. С. Е. В. Тарле и А. Д. Люблинская (по материалам их переписки) // Западноевропейская культура в рукописях и книгах Российской национальной библиотеки. СПб., 2001. С. 86–89.
- ³⁰ АО СПбГУ. Ф. 1. Св. 89. Д. 848. Л. 10.
- ³¹ Там же. Ф. 1. Оп. 37. Ед. хр. 82. Л. 84.
- ³² Там же.
- ³³ См.: Вайнштейн О. Л. История советской медиевистики. . . Гл. 2.
- ³⁴ См.: Кондратьев С. В., Кондратьева Т. Н. Наука «убеждать», или Споры советских историков о французском абсолютизме и классовой борьбе. 20-е — начало 50-х годов XX века. Тюмень, 2003.
- ³⁵ ОА СПбГУ. Ф. 1. Оп. 37. Ед. хр. 80. Л. 104.
- ³⁶ Там же. Л. 106.
- ³⁷ Там же.
- ³⁸ Гутнова Е. В. Пережитое. М., 2001. С. 263. Ср.: Гутнова Е. В. Советская медиевистика с середины 30-х до 60-х годов // История и историки. М., 1960. С. 208.
- ³⁹ Архив СПбГУ. Ф. 1. Оп. 37. Ед. хр. 82. Л. 108.
- ⁴⁰ Отзыв Е. В. Тарле и прочие материалы защиты 1951 г. цитируются по: Кондратьев С. В., Кондратьева Т. Н. Наука «убеждать». . . С. 167–180.
- ⁴¹ Там же. С. 180.
- ⁴² Люблинская А. Д. Источниковедение истории средних веков. Л., 1955. С. 4.
- ⁴³ Гутнова Е. В., Каждан А. П. [Рец.] Люблинская А. Д. Источниковедение. // Средние века. Вып. X. М., 1976. С. 232.
- ⁴⁴ Люблинская А. Д. Источниковедение. . . С. 3.
- ⁴⁵ Гутнова Е. В., Каждан А. П. [Рец.] Люблинская А. Д. Источниковедение. С. 229.
- ⁴⁶ См.: Панелят В. М. Творчество и судьба историка. . . С. 432–433.
- ⁴⁷ Баткин Л. М. Начинающий медиевист из провинции — в гостях у Люблинских // Западноевропейская культура в рукописях и книгах Российской национальной библиотеки. СПб., 2001. С. 121.
- ⁴⁸ Фролова И. И. Из воспоминаний // Там же. С. 135.

- ⁴⁹ *Сталин И. В.* Экономические проблемы социализма в СССР. М., 1952.
- С. 41.
- ⁵⁰ *Баткин Л. М.* Начинаящий медиевист... С. 113.
- ⁵¹ *Вайнштейн О. Л.* История советской медиевистики. 1917–1966. Л., 1968.
- С. 175.
- ⁵² *Люблинская А. Д.* Источниковедение... С. 59–60.
- ⁵³ *Ролова А. Д.* А. Д. Люблинская. Учитель и друг // Западноевропейская культура... С. 150.
- ⁵⁴ *Полянский Ф. Я.* 1) О товарном производстве в условиях феодализма // Вопросы истории. 1953. № 10; 2) Проблемы основного закона феодализма // Там же. 1954. № 10.
- ⁵⁵ *Люблинская А. Д.* [Рец.] Ф. Я. Полянский. Экономическая история зарубежных стран: Эпоха феодализма. М., 1954 // Вопросы истории. 1956. № 3.
- ⁵⁶ *Полянский Ф. Я.* Письмо... С. 127.
- ⁵⁷ *Полянский Ф. Я.* Экономическая история... С. 113.
- ⁵⁸ *Люблинская А. Д.* О письме Ф. Я. Полянского // Вопросы истории. 1957. № 1. С. 220–222.
- ⁵⁹ *Полянский Ф. Я.* Письмо... С. 127.
- ⁶⁰ *Полянский Ф. Я.* Экономическая история... С. 113.
- ⁶¹ *Люблинская А. Д.* [Рец.] История средних веков. Т. 2. М., 1954 // Средние века. Вып. 17. М., 1955. С. 359.
- ⁶² См.: *Баткин Л. М.* Начинаящий медиевист... С. 150.

СОДЕРЖАНИЕ

От авторов	3
Традиции	4
Первое десятилетие	21
После войны	65

Научное издание

*Галина Евгеньевна Лебедева
Владимир Александрович Якубский*

CATHEDRA MEDII Aevi

**Материалы к истории ленинградской медиевистики
1930–1950-х годов**

Редактор *И. П. Комиссарова*
Обложка художника *Е. А. Соловьевой*
Верстка *Е. М. Воронковой*

Подписано в печать 08.02.2008. Формат 60×84¹/₁₆.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 7,44+0,46 вкл.
Тираж 140 экз. Заказ № **185**.

Издательство СПбГУ.
199004, С.-Петербург, В.О., 6-я линия, 11/21
Тел. (812) 328-96-17; факс (812) 328-44-22
E-mail: editor@unipress.ru
www.unipress.ru

По вопросам реализации обращаться по адресу:
С.-Петербург, В.О., 6-я линия, д. 11/21, к. 21
Телефоны: 328-77-63, 325-31-76
E-mail: post@unipress.ru

Типография Издательства СПбГУ.
199061, С.-Петербург, Средний пр., 41

ИЗДАТЕЛЬСТВО С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

предлагает учебники, учебные пособия, научную
и научно-популярную литературу по

*истории,
экономике,
психологии,
философии,
филологии,
языкознанию,
естественным и точным наукам*

студентам, преподавателям, научным сотрудникам, а
также учителям, школьникам — всем, кому интересен мир
книги.

Книги можно приобрести в магазинах Издательства,
а также через отдел реализации:

199034, С.-Петербург, 6-я линия В. О., д. 11/21, к. 21

Телефоны: 328-77-63, 325-31-76

E-mail: post@unipress.ru

Широкий выбор научной, образовательной, справочной
литературы в объединенной книготорговой сети
«Книги университетских издательств»

в Санкт-Петербурге:

Книготорговая сеть Издательства СПбГУ

Магазин № 1 «Vita Nova»:

Университетская наб., 7/9

Тел. 328-96-91;

E-mail: vitanova@it13850.spb.edu

Филиал № 2:

Петродворец, Университетский пр., 28

Тел. 428-45-91

Филиал № 3:

В. О., 1-я линия, 26

Тел. 328-80-40

Филиал № 5:

Петродворец, Ульяновская ул., 1

(физический факультет)

Филиал № 6 «АКМЭ»:

В.О., Менделеевская линия, дом. 5

(здание исторического и философского факультетов)

Филиал № 8:

Университетская наб., 11

(в холле филологического факультета)

Книжный магазин «Александровская библиотека»

Наб. р. Фонтанки, 15 (здание РХГА)

Г.Е. Лебедева и В.А. Якубский — представители петербургской медиевистики. Г.Е. Лебедева — доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой истории Средних веков исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета.

В.А. Якубский — доктор исторических наук, профессор, до 2004 г. работал на кафедре истории Средних веков Санкт-Петербургского государственного университета. В настоящее время работает на кафедре истории славянских и балканских стран исторического факультета того же университета.

